АЛЕКСАНДР ЦЫГАНОВ

ВОЛОГОДСКИЙ КОНВОЙ

ПОВЕСТЬ

Я начальник отряда осужденных. Или отрядник, как говорят все кому не лень. И сотрудники зоны, и сами осужденные, и родственники, приезжающие на свидание... Конечно, порой не удержишься и поправишь того или иного, но проку в этом нет: все равно язык у всех на привязи не удержишь. А наш-то почет одним нам и достается, потому что наша честь с утра и до позднего вечера — в зоне...

Воспитатель, советчик, начальник, отец, старший брат, вершитель судеб — все в одном лице. И здесь только сердце — вещун, а душа твоя — мера...

Часть первая

Ясны очи

Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте.
Ф. М. Достоевский

1

Казалось, считанные дни, как я здесь, в этом небольшом лесном поселке, на дальнем северном бездорожье, забытом и Богом, и людьми. Но после того, что произошло сегодня, вдруг разом нахлынуло, вспомнилось…

ЦЫГАНОВ Александр Александрович родился в 1955 году в деревне Блиново Вологодской области. Служил в ракетных войсках. Окончил Вологодский педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы. Около десяти лет работал в колонии усиленного режима в должности начальника отряда. Автор нескольких книг прозы. Лауреат литературной премии МВД СССР, премии Вологодской области по литературе. Член Союза писателей России. Живёт и работает в Вологде.

В Людиново я добрался поздним мартовским вечером: было уже исчерна-темно и неуютно-настороженно вокруг, нахлестывал беспрестанный ветер с брызгами невидимого дождя…

А сначала, после вынужденного недельного торчания в белозерском райцентре, я наконец-то попал на самолет, который заменил лыжи на колеса и через пару часов благополучно приземлился на поле с раскисшим снегом, подсиненным наступающим вечером.

Пилот передал подошедшему мужчине в шапке с кокардой два бумажных мешка с почтой, подмигнул нам и закрыл дверцу. А мы, взяв поклажу, отошли к деревянному домику, над входной дверью которого висела потемневшая от времени доска с надписью: "Аэропорт Северный".

Самолет взревел и, разбрызгивая стеклянным веером лужицы, завис в воздухе — и точно поплыл, скрылся за лесом, оставив за собой гул, — по небу широко, по земле далеко… И теперь я оставался один на один с неизвестностью, которая не то чтобы пугала, но, по крайней мере, напоминала о себе легендами и небылицами об этих жутких и непонятных местах… Не хочешь, да задумаешься.

"Меньше надо говорить, меньше надо говорить…" — непонятно почему нашептывал я себе, считая, что этим избавлюсь от случайных и необдуманных слов.

Мы вошли в домик, и хозяин открыл комнатку. На большом столе громоздилась всевозможная аппаратура, там что-то попискивало и потрескивало, но после щелчка тумблера все стихло.

— Николай, — застенчиво протянул мне руку хозяин, — здешний начальник аэропорта. Он же и сторож, по совместительству.

Вскоре мы пили чай и, поглядывая на глубокие колеи разбитой дороги, мирно беседовали. Вернее, Николай рассказывал о Северном, где он родился и вырос. "Ага, ага", — то и дело добавлял он в разговоре, придавая тем самым своей речи необыкновенную притягательность. А красную-то речь красно слушать да на ус мотать.

Оказывается, от Северного до Людинова, куда мне надо, всего-навсего тридцать верст, но даже трудно представить, как они даются. Добираются по шесть-восемь часов, если, конечно, все нормально. Пока дорога не провалилась и ровда не ушла — в жизнь не вылезти из Людинова. Так сиднем и сидят. А зимой, когда застывает, ее сначала "гэтээской" укатывают, потом еще "ураганом" пройдутся, а следом уже автобус посылают. Так пока дорогу укатывают — тягач, случается, по самые уши проваливается, посылают на выручку трактор — и "сотки" садятся. Прямо беда да и только. А ранней весной или поздней осенью все объездом одним — так без молитвы и в путь незачем собираться. Тело-то, может, довезешь, а уж за душу не ручаешься. А случись что, ткнуться уже некуда: по пути три деревушки почти пустые, в каких домах старики да старухи даже часы на новое время не переводят. Говорят, нам спешить некуда, мы свое отжили, а время везде одинаково. Но в этом году дорога еще держится, так напрямую можно идти — все скорее да надежнее.

А сам Северный раньше райцентром был. Военкомат и милиция на бугре, а на берегу, рядышком, и роно с райкомом. А потом, после известных перестроечных событий, и стал Северный просто поселком. Но населения, правда, и сейчас тысячи три наберется, не меньше. Свой леспромхоз, сплавучасток, колхоз и сельпо имеются. Хотя, как и везде, все на ладан дышит. Даже два участковых приставлены. Только они что есть, что нет: то по своим делам разъезжают на казенном мотоцикле, а то, глядишь, лыка не вяжут. Начальство, конечно, отругает хорошенько, когда надо, а выгнать не решается — никто в такую глухомань не полезет. Своя рубашка ближе к телу.

Только здесь ко всему привыкли — вдосталь нагляделись да натерпелись. А как еще послушаешь, что людиновские из зоны рассказывают, когда в аэропорт приезжают, так только и подумаешь: "Слава Богу, тут еще рай, живи да радуйся…"

Николай прислушался, затем кивнул уверенно:

— Машина из Людинова идет, больше неоткуда, ага, ага…

Прижавшись к оконному стеклу, я чувствовал, как сильнее и горестнее забилось сердце: из-за леса, воя, выползала машина. Громоздкая и темная, она упрямо двигалась к аэропорту, заваливаясь на каждом шагу в колеи и колдобины… Куда Господь Бог несет?..

Перед посадкой на самолет я набрал номер телефона, куда мне в свое время посоветовали звонить, однако не обмолвившись ни одним словом о тех трудностях, которые предстояло перенести. То ли забыли, то ли не нашли нужным обращать внимания на такие мелочи. И после шума и свиста послышались слабые гудки, следом далекий, пододеяльный голос ответил откуда-то: "Людиново слушает, говорите!"

Назвавшись, я попросил сообщить дежурному, как меня учили, что скоро вылетаю, чтобы встретили.

"Сообщим!" — коротко заверили из таинственного Людинова, и связь разом оборвалась, точно ее и в помине не было.

И сейчас, подхватив сумку, — долог путь, да изъездлив! — я простился с Николаем, глядевшим на меня необычайно сострадательными глазами, и шагнул на улицу к машине. Дверка ее, заляпанная грязью, задергалась и задребезжала, потом со скрежетом открылась, и оттуда вылез, согнувшись, мужик в годах, широкоплечий и кривоногий. В бушлате и кирзовых сапогах.

— Поедем, что ли, — обронил он глухо. — И так запоздились — в двух местах по самые мосты сели. Дорога, будь она неладна. — Сам мрачный, да и смотрит не россыпью, а комом, но — спокойный. Таким как-то сразу верится, а вера животворит, это мы и сами знаем.

Машина шла тяжело, ухая в выбоины, которых было такое множество, что даже сам сопровождающий, Владлен Григорьев, только морщился устало… Кажется, тут свет клином сошелся!

А по обеим сторонам дороги бесконечно тянулся черный лес; проехали небольшое кладбище, и Владлен Григорьев вполголоса рассказал, между делом кивнув на краснорукого водителя, не имевшего ни бороды, ни усов, ни на голове волосов:

— Глухой, здесь такие и нужны… А на кладбище этом зэки горемычные лежат. Сгорели они, пятеро, разом — как и не жили. А дело такое: переезжали из одного оцепления в другое, вагоны еще деревянные были. Дороги верст двадцать набиралось, не меньше. Да еще гэсээм в придачу надо было отдельно перекинуть, а тут — зачем лишняя волокита! — подцепили к вагончику с людьми — и вперед. На новое место. По пути кто-то покурил, а чинарик и бросил в сторону, по привычке. Что люди, то и мы… Скоро и занялось. А деревянное — разом пыхнуло! Охрана повыскакивала, оцеплением встала, автоматами щелкнули — к бою готовы! Веселое горе — солдатская жизнь!.. А в вагоне уже вовсю полыхало, ни жить, ни быть. Мужики орут, окна с решетками высадили — и на волю рваться!

Начальником конвоя был прапорщик Бись, Михайло Маркович, он по гражданке еще в медиках начинал, да на первых порах все не в свое дело норовил лезти — помогал встречному да поперечному. А на добреньких воду возят, сразу и надорвался. После быстро смекнул, в чем дело, да в общий ранжир и встал. Даже вперед вырвался. Бывало, больного доставят, а он: "Ну что: будем лечить, или пускай живет?.." Так и прозвали. Заметь: человек шутки не шутил. И здесь тоже: то ли растерялся, то ли совсем испугался — матерится: "Стрелять буду! Назад! По местам!" А куда назад? Назад уже некуда — только вперед!.. Тогда Бись и орет конвою: "Огонь!" Пальба открылась такая, что эти пятеро побоялись и нос из вагона высунуть, ведь решето сделают и глазом не моргнут. Правда, потом выяснилось, что в основном стреляли поверху, да после драки кулаками не машут. Так они, бедные, руками обхватились друг с другом в обнимку, да так и сгорели… Вот ведь как: свет велик, а деваться некуда…

Взгляни-ка на меня; горе идущему, горе и ведущему!..

— Было хоть что-нибудь начальнику конвоя? — сорвался я на внезапный крик на одном особо тряском месте: меня как-то необычно бросило вбок влево — и сразу же вправо, а следом — вверх, и я разом взмок; как ни гнись, а поясницы не поцелуешь…

— Известно дело, парень, — сопровождающий впервые глянул мне в глаза, — вологодский конвой шутить не любит: шаг влево — агитация, шаг вправо — провокация, прыжок вверх…

Тут его и самого столбиком под крышу подкинуло, но он, казалось, не обратил на это внимания:

— А прыжок вверх — попытка к побегу. Спускаю собаку. Собака не догонит — пуля догонит; пуля не догонит — сам раздеваюсь!..

Так говорил Владлен Григорьев, сам в свое время отсидевший здесь положенное от звонка до звонка, а по освобождении оставшийся в этих местах и до сих пор работавший механиком на нижнем складе.

— А насчет было или не было… — Владлен для чего-то попротирал лобовое стекло. — Да ничего: в другую колонию перевели. Можно сказать — повысили. Здесь все и без того круглые сутки как под конвоем. Спроси любого поселкового: только и мечтают любыми путями отсюда выбраться. Гиблое место. Тут говорят: кто в Людинове пять лет отпашет, можно "Героя" давать, — усмехнулся сопровождающий и добавил: — Или "орден Сутулова"… А если серьезно: человек приказ выполнял, а они не обсуждаются. И потом: в такой неразберихе в два счета можно и ноги сделать, в бега податься. Не скоро и на след выйдешь: кругом тайга…

Но не успел я собраться с ответными словами, как впереди вдруг блеснул свет прожектора: чисто и одновременно как-то зловеще маячил он из темноты, вызывая неосознанную тревогу… И побежала дороженька через горку!

— Нижний склад, — выпрямился Владлен Григорьев. — Считай, на месте. Через два кэмэ — и поселок.

В Людинове машина взобралась на взгорок, оказавшийся потом мостиком, и, спускаясь, выхватила фарами торчащий на обочине дороги щит, на котором поверху крупно было написано: ЧТО? ГДЕ? КОГДА? — А ниже, на обрывке киноафишной бумаги, глаза успели пробежать: "ЗДЕСЬ ТЕБЯ НЕ ВСТРЕТИТ РАЙ".

Со щита как ветром сдуло взлохмаченную ворону, умчавшуюся в темень с хриплым криком, похожим на колдовской хохот сказочного злодея: "Ур-ря! Ур-ря! Ур-р-ряяя!..". Родясь, не видывал, умру — не увижу.

Машина, взревев, остановилась возле двухэтажного деревянного здания — штаба учреждения, над входной дверью которого, под лампочкой в железной сетке, красовалась надпись: "ВОСПИТАТЕЛЬ САМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВОСПИТАН".

Напротив, освещенный, стоял тепловоз с прицепленными вагонами, из которых, спрыгивая, шли люди, одетые в черную одежду, — и прямым ходом к высоченным открытым воротам, окованным железом; с обеих сторон тепловоза — молчаливые и усталые — солдаты с автоматами на изготовку; у одного с накрученного на руку поводка рвалась заходившаяся в лае овчарка; что-то кричали друг другу несколько офицеров возле шумно работающего тепловоза; из кабины его безучастно вертел коротковолосой головой молодой парень в шапке, лихо посаженной на макушку…

Начало трудно, а конец того мудрен; и направился я в штаб: первая дверь налево, постучал и, услышав: "Войдите!" — не помня себя, шагнул.

За двойной дверью с тамбуром — комната; дюжина стульев, у зашторенного окна стол, а на стенах, обитых коричневыми листами дэвэпэ, несколько красочных таблиц и портрет главного чекиста, выполненный, видимо, самодеятельным художником. Потом оказалось, что практически во всех служебных кабинетах была такая же работа, только в оперативно-режимной части она отличалась чем-то назойливо-неуловимым, а чем, наверное, так и останется для всех тайной. Да много знать — мало спать.

За столом, опершись локтями на полированную столешницу, сидел майор с приплюснутым носом и блестяще-коричневыми глазами, которые смотрели на меня немигающе и внимательно. Изучали да запоминали.

— Заместитель начальника учреждения по политико-воспитательной работе Мирзоев Рамазан Рамазанович, — в ответ на мое представительство почти без акцента ответил майор и, привстав, крепко-накрепко пожал мне руку. — Ждем, ждем. Давно ждем…

И, пригласив сесть, Мирзоев с неторопливой дотошностью стал расспрашивать: верно ли, что я пошел в органы внутренних дел добровольно, а также кем являются и где работают мои родители, и где я жил, учился и трудился до того, как…

Невелика недолга, и уж мои-то данные Мирзоев и без того мог сто раз выяснить, но я вспомнил, успокоившись, о характеристике, данной сопровождающим моему теперешнему начальству: “Ваш замполит, наверное, и во сне держит руки по швам. На всякий случай”.

Зазвонил один из трех телефонов, аккуратно расставленных перед замполитом. Мирзоев стремительно овладел трубкой и, внимательно выслушав, на глазах побурел:

— Нельзя этого делать!.. — Он сморщился так, что верхняя губа подползла к кончику носа. — Мы тут посоветовались, — Мирзоев обвел отсутствующим взглядом комнату, ни на чем конкретно не задержавшись, — и я решил: все оставить по-прежнему!

Было понятно, что у него здесь все на местах, как соловьи на гнездах.

Несмотря на мои отнекивания, Мирзоев споро договорился об ужине в роте, и мы с ним славно ударили по щам и гречневой каше, на верхосытку дунув еще по стакану компота. Не хуже, чем дома.

Общежитие, в котором мне предстояло жить, оказалось напротив солдатских казарм. Комната с узкой кроватью и столиком у окна была на одного. На завтра до обеда мне разрешалось знакомство с поселком, а потом ждала зона и обход по ней вместе с Мирзоевым. На том мы с замполитом и расстались. Переводя дух, я огляделся: главное, жить можно, терпимо.

Говорят, что милует Бог и на чужой стороне; и эта комната с солдатской кроватью да столиком у окна заменит мне отныне родной дом.

Надолго ли?.. Теперь уже поздно решать — сам выбрал. Конечно, если глаза немного разуешь, то спервоначалу и не по себе станет. Но ведь жили же здесь люди и до нас, будут жить и после нас. Разве не так? Что было — то видели; что будем — сами увидим; а еще и то будет, что и нас не будет!..

Помнится, мать любила говаривать: обомнется, оботрется — все по-старому пойдет. А я всегда был в нашу родовую, тоже следом не отстаю: наше место свято!..

Разобрал я кровать — лег прямо в пиджаке, с головой укутавшись, а после уснул разом так крепко, хоть свищи, душа, через нос! И спал до самого утра, как маковой воды напившись.

2

Утром выяснилось, что поселок полностью находится на болоте, поэтому повсюду были мостки. И вдоль и поперек. Дома как на подбор: все барачного типа, разбросанные по обеим сторонам речушки Курдюжки. Возле общежития — магазинчик, следом пекарня, из которой валил черный дым, а на крыльцо то и дело выбегали лысые молодцы в исподнем с неизменными папиросами в зубах; ничем не примечательный садик и столовая примостились на окраине елового леска, из которого, добрые люди сказали, порыкивал порой мишка да шлялись рыси с волками; а еще — библиотека.

Сюда я вошел поспешно, — только что не вбежал.

Библиотекарша, невзрачная и бледная — в чем только и дух держится! — медленно выводя буквы, заполнила на меня карточку. Между двух стеллажей — как тут и был! — бюст Федора Михайловича Достоевского; незабываемый взгляд его точно вопрошает о главном: о чем-то родном и давно забытом…

Здесь я и остался — взял “Дневник писателя”, в свое время так поразивший меня и заставивший о многом задуматься, крепко и надолго.

А выйдя из библиотеки, обнаружил, что в стороне, откуда мы приехали накануне, с трассой пересекается дорога, проложенная деревянными настилами и огороженная с обеих сторон колючкой; над всем этим — множество столбов с лампочками под черными абажурами… И потом, редкими свободными вечерами, непонятно отчего приходил я сюда и, незамеченный, смот-

рел, как идут и идут, растянувшись в длинную темную цепь, люди; и, точно живые, стонут и шевелятся под ними скрипящие и шатающиеся мостки; лай овчарок и хриплые грозные окрики; и хотя во время следования все разговоры строго-настрого запрещались, — голоса, голоса, голоса…

До сих пор неведомо, что же заставляет меня приходить сюда, к этой старой расщепленной березе, скрывающей от чужого взгляда, но только доподлинно ясно: не узнав горя — не узнаешь и радости…

“У нас есть, бесспорно, жизнь разлагающаяся, но есть, необходимо, и жизнь вновь складывающаяся на новых уже началах. Кто их подметит и кто укажет? Кто… может определить и выразить законы и этого разложения, и нового созидания?..” — читалось потом в “Дневнике писателя”. А болящий ожидает здравия даже до смерти. Век живи, век надейся!..

“ВХОД В ЗОНУ ТОЛЬКО ПО ПРОПУСКАМ” — гласило на зеленой железной двери КПП при входе в жилую зону осужденных. И узкоглазый сержант все не мог взять в толк, что на меня выписан пропуск, пока не появился майор Мирзоев, и мы, благополучно миновав пропускной пункт, прошли несколько десятков метров и открыли дверь в дежурную комнату.

Но я успел-таки по пути оглядеться: кругом стенды да длинные дома-бараки, а на каждом из них — прожекторы, в этот час с бездействующим светлым глазом, потому что при необходимости фонарики горят да горят, а видели ль, не видали, понятное дело, ничего не говорят…

При нашем появлении всем как подсыпали перцу: вскочил за барьером сержант-сверхсрочник с красной повязкой на рукаве, а за порогом, вытянувшись, ожидал и сам дежурный: полный лейтенант со вскинутой к шапке растопыренной пятерней.

— Товарищ майор! — рявкнул он. — За время вашего отсутствия происшествий не случилось. Докладывает помощник начальника колонии лейтенант Сирин!

— Вольно! — покачал головой замполит, с любопытством глядя на дежурного: — Ну, Сирин, ну, Сирин…

— А что, Рамазан Рамазанович, по уставу действую. У меня закон — от устава ни на шаг. Железно!

Замполит, поцокивая, дернул щекой и представил меня: мол, прошу любить и жаловать. Новый начальник отряда Цыплаков Игорь Александрович — собственной персоной.

— О, пополнение, — заулыбался лейтенант во всю ширину рта. — Дело, дело! — А голос-то что в тереме!..

Знакомство с зоной началось с клуба, к которому была пристроена библиотека. В клубном зале находилось много коричневых крепких лавок со спинками, пронумерованных белой краской. Хотя и неуклюже, но зато старательно. Только около входа несколько скамеек выявилось без чисел — для администрации: здесь сидят сотрудники во время мероприятий; над головой — аппаратная… Экран — деревянный щит, обтянутый белой материей и отделяющий сцену от зала, — поднимался к потолку и возвращался на свое место завклубом, который сейчас мелким бесом вертелся вокруг да около и с молчаливо-благосклонного согласия замполита рассказывал мне обо всем этом, сладко жмурясь. Такой и до Москвы напоказ без спотычки побежит — только заикнись!..

Длинные и серые бараки отрядов походили друг на друга, как родные братья. Разница состояла только в расположении: если первые три находились едва не вплотную, то остальные полукольцом охватывали зону. А в середине была вечерняя школа, столовая с медчастью и комната с надписью: “Совет коллектива колонии”. С торца неуклюже приткнулось еще строение, где вновь прибывшие проходили карантин. Вроде и не просторно, да дворно.

А на видном месте — напротив библиотеки — штаб, в котором помимо кабинета начальника колонии располагались и помещения его заместителей; в промежутке — небольшое поле. Здесь в хорошее время гоняют в футбол, а зимой это поле заливается, и на нем происходят нешуточные хоккейные баталии. Во всяком худе и верно, что не без добра.

Но вот и общежитие отряда, который мне предстоит со дня на день брать в свои руки… Вошли. День мой — век мой; что до нас дошло, то и к нам пришло…

Навстречу метнулся осужденный — жердяй, в плечах лба пouже; брови — что медведи лежат; в нитку вытянулся перед замполитом, ни одна складка не скользнет по черной спецовке, сапоги — зеркалом; доложил:

— Завхоз отряда Сугробов! Отряд занимается по распорядку дня! — А сам неприметно на меня посматривал: конечно, известно, что ждется новый начальничек.

— Ознакомьте Игоря Александровича с отрядом! — коротко приказал Мирзоев.

Завхоз Сугробов сразу деловито наладился объяснять расположение вверенного отряда, старательно помогая руками, глазами и даже своим подвижным телом: только знай запоминай. После входного тамбура следовало фойе — все в стендах, заполненных сводками, таблицами и призывами. Слева — две двери; здесь живут звенья отряда — по две секции в каждом помещении; справа — то же самое. Прямо пойдешь — дверь начальника отряда, а впритык, через тамбурок, вход в курилку с умывалкой.

В секциях — койки в два яруса, заправленные на удивление чисто, с подверткой простыни по одеялу, а между койками — одна на другой — тумбочки. В конце секции — еще двери: там каптерки, в них для одежды и обуви шкафчики, встроенные в стену; на всем прибиты и прикручены таблички с указанием фамилии, отряда и звена осужденного. А у входных дверей — алюминиевые бачки с водой. Все рассовано по своим местам — по сучкам да по веточкам, — просто, никаких излишеств.

Завхоз Сугробов, объяснявший деловито и толково, вьюном заходил то с одного, то с другого бока, а замполит тем временем скрылся в кабинете начальника отряда, куда мы вошли в последнюю очередь.

И здесь глаз хозяйский на месте — прямо стол начальника отряда, напротив завхоза; десяток стульев, сейф и полка с документацией, а над окном, в разрисованных яркими красками горшочках, пущены к жизни цветы… Работай да любуйся.

Тут зазвонил телефон: майора Мирзоева приглашали в дежурную комнату зоны. Быстро выпроводив завхоза, замполит поинтересовался о моих впечатлениях и посоветовал остаться в отряде до вечера, который уже был не за горами: поговорить и познакомиться с людьми, а затем — при желании — сходить в кино, объявленное по случаю предвыходного дня. Засим крепкими пальцами застегнул на желтые со звездочками пуговицы свою длиннополую шинель, жамкнул мне руку — и только его видели.

Так все это непривычно и неожиданно! Точно сон… Да только много спать, так мало жить: что проспано, то уже и прожито… Так и сяк повертелся я в самодельном вертящемся кресле, поперебирал бумаги на столе, что-то неопределенное представляя, воображая…

Пройдет полгода, и будет присвоено первичное офицерское звание, как было обещано на собеседовании в управлении, куда я сунулся по настоятельному совету одного бывалого и служивого приятеля, уверившего меня в правильности этого, единственно верного, решения… А там уж, глядишь, и в форме бегаю: брюки с красным кантом, на плечах звездочки поблескивают-посверкивают, галстук опять же… Смешно и грешно, но что-то ведь хочется, о чем-то все-таки думается… Хотя почем знать, чего не знаешь. А уж если впрягся, — лучше веру к делу применяй, а дело к вере, тогда все и будет, как на душу положено.

Вскоре за вежливо вошедшим завхозом Сугробовым потянулись по делу, но больше, кажется, без дела другие осужденные: все, как один, с красными треугольными нашивками на рукавах; с завхозом переговариваются вполголоса, а то возьмут да о чем-нибудь и меня спросят… Вот так я, чуж-чуженин, и становился семьянин, а какой же мирянин от миру прочь?..

Дверь с грохотом распахнулась, и передо мной человек вырос: поперек себя толще, да на щеке бородавка — телу прибавка; в горле петух засел:

— Гражданин начальник! Крысу поймали! Что делать? Крысу поймали!..

Ума не приложу: смотрел то на него, то на завхоза:

— Да что делать?.. Убить и выбросить. — Долго думать, тому же быть, да — и лишние догадки всегда невпопад живут.

А завхоз Сугробов, прислушиваясь к шуму и грохоту в курилке, довольно улыбался:

— Оторвут сейчас от хвоста грудинку... "Застегнут" они его, гражданин начальник. Как пить дать — замочат!

— Кого — "его"? — все не мог я понять. — Крыса же "она"! — Аль я уши отсидел?..

А у завхоза по-прежнему рот до ушей:

— Кто в тумбочках крадет, тот крыса по-нашему. Крысятник. Вот по заслугам вора и жалуют.

Много учен, да не досечен, — кинулся я в курилку, а завхоз за мной — обогнал и блажанул:

— Мужики, завязывай! Проучили — и хана!

В курилке — спиной к печке — мужичок прижался: глаза на нитке висят, по пояс юшкой умылся, сопит и всхлипывает. Увидев меня, все расступились и отодвинулись. Ждали: каким глазом взглянет?..

— Разойдись! — себя я не узнавал. — Все по местам! Сам разберусь! — Развернулся, а мужичок следом за мной: голосом пляшет, ногами поет — спасся!

В кабинете завхоз Сугробов передо мной веревки из песка вил:

— Гражданин начальник! Слово-олово: больше пальцем не тронут, кому охота срок за гниль тянуть. Попало за дело. Никто не видел и не слышал. Слово-олово!

Так сработано, что не придерешься. Думаю, добро, шпана замоскворецкая: всю вашу хитрость, видно, не изучишь, а только себя скорее до ручки доведешь. Но одно здесь верно: слушай в оба, зри в три!..

Как раз по селектору и фильм объявили: "Внимание! Завхозам отрядов построить осужденных и привести в клуб для просмотра фильма "Возьму твою боль"!

Вроде и у дела я оказался: в два счета построив людей возле отряда, завхоз доложил мне о готовности, на что я неопределенно дернул головой, а завхоз скомандовал: "Отряд, шагом марш!" — И я уже со своим законным отрядом, немного сбоку, как и положено начальству, дошагал до клуба; кругом слабые и тусклые огоньки лампочек на столбах, зябко да неуютно...

Зато возле клуба светлынь: подходили отряд за отрядом, завхозы докладывали дежурному Сирину, и тот своим зычным гласом: "Давай, урки!" — разрешал вход. А у клубных мостков помощник дежурного — грузинистый прапорщик, чуть ли не до пупа расхристанный, схватил за грудки осужденного, мальчишку, пытавшегося в неустановленных по форме одежды ботинках взобраться по крутым ступенькам клуба:

— Ти-и... че-эго тут ви-искываешь? Па-ачему тут висиваешь?!

Малокровный и съежившийся парнишка, запахиваясь в великовозрастную фуфайку, оправдывался:

— У меня плоскостопие, разрешено медчастью. Можно пройти?..

Но у прапорщика, внезапно налившегося кровью, как бы отслоились толстые выразительные усы:

— Марш в отряд! Ка-а-аму гаварю!..

Между делом подключился и Сирин:

— Что, не ясно? Посажу!

Кто барствует, тот и царствует; и пошагал, головушку опустив, стриженый-бритый, к родному общежитию-бараку. Одиноко да понуро: отлежаться, носом в подушку сунувшись.

— Все верняком, — подмигнул мне Сирин. Пощелкивая пальцами, он прищурил глаза и вдруг попросил, как рублем одарил: — Слышь, будь другом: посиди в клубе, пока фильм идет. А то весь наряд на обходе. Один остался. Выручай, друг.

Конечно, спрос не грех, да и отказ, наверное, не беда. Да вот только не все то есть, что видишь. Есть у молодца не хоронится, а нет — не воротится.

Вошел я следом за последним в зал. Дверь закрыли на защелку, чтобы не вовремя пожелавшие не лезли, свет выключили — и фильм начался.

Сидел я, точно оглушенный, на лавке бок о бок с пожилым, глянувшим на меня исподлобья, но выбирать уже не приходилось. То и есть, что двадцать шесть…

Из аппаратной — легкий треск, струилась сверху песочно-лунная, прозрачная дорожка… На экране — титры: ВОЗЬМУ ТВОЮ БОЛЬ… Шла война, — до сих пор любят в воспитательных целях такие фильмы показывать, — и на глазах ребенка немецкие прислужники убивали его мать и сестренку; и слышал мальчишка в свои неполные восемь лет последний крик матери и плач сестренки; и болью сердце гинет, ведь все мы одной матери дети…

И видел я боковым зрением, как плакал молчаливо мой пожилой сосед: растеклась под глазом светлая серебристая морось, к щеке подбегала маленькой и горючей капелькой…

И дикими мне показались думы подпольные, страхи летучие: хоть и не ровня, так свой же брат — человек человека стóит. Одним миром мазаны.

И долго еще потом меня мучило — уже дома, в своей комнатушке, бессонной ночью, одинокого и далекого от всех родных и близких…

А еще поразило меня то, что я как будто и не нашел в этой жизни, в своих первых впечатлениях, ничего особенно поражающего или, вернее сказать, неожиданного. Все это словно и раньше мелькало передо мной в воображении, когда я старался угадать свою долю.

Молвя правду, правду и чини; и хотя судить о человеке, не зная его, — дело последнее, но увиденное мною заставляет задуматься о том, что боль собственного сердца сострадающего прежде всяких наказаний убивает его своими муками. И он сам себя осудит за свое преступление беспощаднее и безжалостнее самого грозного закона…

3

Утренняя планерка проходила на втором этаже штаба, в просторном кабинете начальника колонии подполковника Любопытнова Виктора Ильича, пожилого уже человека с совершенно седой круглой головой и серо-черными, с завитушками к вискам бровями.

Трудно было избавиться от впечатления, что начальник колонии видел все окружающее как-то не глядя. Входя куда-нибудь, он уже знал, что делалось на другом конце, — порядок дела не портит! — а твердостью и определенностью при решении служебных вопросов начальник завоевал расположение даже у мало кому верящих подопечных за колючей проволокой.

Среди старожилов поселка упорно бытует легенда, что будто бы к одному из дней рождения начальника — без добрых дел вера мертва! — подарили ему осужденные собственноручно изготовленный автомат, смастерив его на нижнем складе и тайно, по частям, доставив в жилзону, где возложили новенькое, смазанное оружие прямо на стол уважаемого человека, разумеется, до прихода того на рабочее место. Мол, кто нас помнит, того и мы помянем.

И этому как-то трудно было не верить, как и тому, что однажды некий изобретатель этого “колючего окружения” умудрился сконструировать еще из бензопилы “Дружба” подобие вертолета и на свой страх и риск даже сделал попытку подняться в воздух на этом агрегате в ночное, относительно безопасное время, но все же был замечен обалдевшим часовым, а затем и благополучно подстрелен, упав за запретной полосой. После чего изобретатель был подлечен где следует и поощрен — раз на раз не приходится! — далеко не по изобретательским заслугам: осужден новым сроком в колонию более строгого режима.

— Значит, туда и дорога, — смеялся перед планеркой дежурный Сирин. — А живи попроще и без затей, проживешь сто лет. Соображать надо!..

Коренастый и плотный, быстро вошел начальник колонии, точный — минута в минуту. Посерьезневший Сирин скомандовал офицерам, полукругом сидевшим в кабинете начальника:

— Товарищи офицеры!.. Товарищ подполковник, лейтенант Сирин дежурство сдал!

— Капитан Брусков дежурство принял!

— Товарищи офицеры... — миролюбиво ответствовал начальник, что означало: прошу садиться. И все деловито расселись по местам, за исключением Сирина и заступавшего на дежурство капитана, у которого было бы грех спрашивать о здоровье, глянув на его лицо.

А лейтенант Сирин наладился привычной скороговоркой:

— За время моего дежурства происшествий не случилось. Осужденные занимались по распорядку дня. Вывод на объекты и возвращение в жилзону соответствует учетным данным. Вечерний прием спецконтингента проводился медчастью, спецчастью и бухгалтерией. В вечернее время демонстрировался фильм. Оценка наряду осужденных "удовлетворительно", дежурному наряду контролеров — "хорошо". Лейтенант Сирин дежурство сдал!

Но начальник, покачивая седой головой, поинтересовался как бы задумчиво:

— Кто же фильм, товарищ Сирин, обеспечивал на сей раз?

И, поглядывая то на начальника, то на замполита, не сводившего с него своих блестящих внимательных глаз, Сирин забормотал:

— Фильм... Фильм обеспечивал новый начальник отряда... Цыплаков. Цыплаков Игорь Александрович. По собственному желанию.

Сказал, да и был таков. Хотя известно, что кто в грехе, так тот и в ответе. Но я, делать нечего, согласно кивая, тоже приборматывал:

— По собственному желанию, по собственному желанию...

Только на свои глаза свидетелей не наставишь: начальник колонии, с привычной ловкостью встав из-за стола, быстро расстегнул мундир и посмотрел на Сирина так, что того малость поизвело:

— Понимаете, *что* могло случиться?.. Допускали последствия? Человек ни сном, ни духом еще не ведает нашей специфики! Жду объяснительную — и будете наказаны!.. Все свободны! — Сказал, как кол в землю вбил.

Выйдя из кабинета, я бездумно двинулся к окну в конце коридора и тут же бровь в бровь столкнулся с майором: невысок и лобаст, под носом взошло, а на голове не засело, сам тих и как-то странен.

Подхватил он меня под руку приглашающе, и мы с ним закадычными друзьями спустились на первый этаж к кабинету с табличкой "Заместитель начальника по режиму и оперработе". Там уже сидел замполит Мирзоев: откинувшись в кресле, он быстро курил, закинув ногу на ногу. При виде нас замполит что-то промычал и, затушив папиросу, придвинулся к столу вместе с креслом. Серьезный и внушительный.

— На наше дело не всякий годится, — тихо, точно сам с собой заговорил заместитель по режиму майор Нектаров. — Так что вчерашний случай с "крысятником" оставлять без последствий, конечно, нельзя. Нас не поймут. Неволя, брат, всякого учит и ума дает. Здесь одним доверием не обойдешься — к беде приведет. — Майор Нектаров, переглянувшись с нахмурившимся замполитом, забарабанил по столу пальцами:

— Однажды в розыске достал один из наших сбежавшего — в одиночку накрыл. Тот с ходу и ручки вверх: "Не тронь, начальник, твой". А нашему, нет, чтобы заставить урку шмотки с себя скинуть, — не сообразил. На слово поверил. Да ближе и подошел, а тот, не долго думая, ножик из сапога — и в сердце. Да позже на тот же свет еще двоих едва не отправил. Спасибо, врачи выходили. В нашей работе хоть раз вожжи опустишь — не скоро уже изловишь. Одни неприятности как из мешка посыплются: знай успевай оборачиваться...

— Время научит, — завыстукивал по столешнице и замполит. — Был у нас тоже один добренький: все хотел, чтобы кругом по-людски было — и у ваших, и у наших. Только ненадолго хватило: быстро сообразил, откуда ветер дует. А когда по-настоящему прижало, так вообще потек. Оно и понятно: с огнем не шутят...

— Что верно, то верно, — поднял указательный палец майор Нектаров. — Дело прошлое: можно было бы тех пятерых в вагоне спасти, окажись наши посообразительней...

И вот тут-то — не светило, не грело, да вдруг и припекло: неожиданно во время разговора какой-то злобно-нутряной вой сирены, разливаясь на высоком жутком завывании, поднял всех с мест и бросил на выход… Весь дом разом вверх дном!

Выскочив из штаба, мы бросились по дороге к нижнему складу, потому что со стороны клуба, над ним, медленно заполняя низкое неподвижное небо, поднимался черный и слоистый дым, расползаясь над поселком.

Горел и правда клуб. Подойти уже было страшно: оттуда, где был зал с печью, трещало и зловеще шумело с неимоверной силой; из туго лопнувших окон с гудением вились плавные, огненно-красные космы; на крыше очередями палил шифер, а сама она вся уже была охвачена пламенем и казалась огромным факелом, — дрожит свинка, золотая щетинка! — горело и в библиотеке, — там огнь пожирающий шуровал уже вовсю, но еще на волю не вырвался, прожорливо гудел внутри, как бы готовясь к неожиданному и гигантскому прыжку, чтобы разом поглотить все в своей испепеляющей лаве — сколько можется, столько и хочется! Искры змеино шипящим фейерверком густо и страшно сыпались далеко во все стороны. Где конец веревке той? Нет его, отрубили!

Но аминем дело не вершится, — кругом метались и тушили, кто чем мог, подлетела пожарка и моментально раскатала шланги. Сильные стальные струи вбились в ярое пламя, и хоть против огня и камень трещит, постепенно гасились и сбивались огненные островки пылающего клуба…

“Спи, царь-огонь, — говорит царица-водица. — Спи, царь-огонь!”. Огню да воде Бог волю дал!

— Давно просила печь отремонтировать, — нудно бормотала возле меня бледная библиотекарша, безнадежно прижав к щекам руки. — Опять буду без вины виноватая…

Висевший над клубом обломок громадного стенда с надписью “ДА ЗДРАВСТВУЕТ…” легко сорвался вниз, скользнул, как по маслу, и, ухнув возле меня, сразу рассыпался.

И вдруг меня как будто кто-то окликнул — и я, точно бы в беспамятстве, — не струшу, так отведу душу! — бросив всё, кинулся к библиотеке, кульнул туда через окно, — чем думать, так делай! — подвывая и прикрикивая от страха… Благослови, да головы не сломи! — огонь вовсю уже гудел и шарил по комнате, по книжным стеллажам, весело и мощно пожирая все на своем пути; никому не верит, а сам мерит!..

Но мне уже виден сквозь шелк пламени незабываемый взгляд, оставшийся в памяти вопрошающим о главном: о чем-то родном и давно забытом! Сгреб я в охапку, беремем, бюст Достоевского и, задыхаясь, теряя последние силы, с готовой, казалось, вот-вот лопнуть от невозможного, звенящего напряжения головой, кинулся обратно. Побеги, да ноги не зашиби!..

Кубарем выпав из окна, встал я на карачки и пополз, но, опомнившись, стал загребать обратно, выпавший бюст нашаривать. В это время — от воды не в огонь! — окатило меня спасительной водяной струей, затем, подхватив за руки, стали в сторону оттаскивать, матерясь на чем свет стоит, а мне все неймется — мычал да оборачивался, руками загребал… Жив буду — не забуду!

Сшибся я с памяти: все бесы в воду — и пузыри вверх; как только стал приходить в себя, огляделся: кругом народ стоял молчаливо, как над больным или упокойным склонились; работала неутомимо пожарка, и уже был сбит огонь, а шипящие бревна растаскивались баграми…

— В рубашке родился, — вытерев лоб под шапкой, вздохнул начальник колонии, помогая мне подняться. — Теперь уж до нового клуба придется спасенное хранить. — И, неопределенно улыбнувшись, заключил: — На законных основаниях.

— Герой кверху дырой, — послышался за спиной знакомый голос: с застывшей полуулыбкой на меня смотрел, пружиня на носках сапогов, майор Нектаров.

— Дурак дураком — и уши холодные, — раздался откуда-то жизнерадостный бас пожелавшего остаться неизвестным доброжелателя.

Но мне сейчас было всё безразлично, и я, ничего не понимая и не отвечая, потащился к общежитию, все так же, беремем, держа спасенный бюст, пока на полдороге к дому не столкнулся со своим начальником.

Мирзоев, отступив на шаг, смерил меня округлым птичьим взглядом и вдруг, выкинув руку, так склещил мою пятерню, что я от неожиданности ойкнул и быстро пришел в себя.

И вскоре, умытому и переодетому, мне было славно смотреть на спасенный бюст: в моей комнате теперь, в углу на тумбочке, как раз и уместился, словно для этого места специально и предназначенный… Чей день завтра, а наш — ноне!..

Ненароком я и задумался о чем-то запредельном, глядя на Достоевского и время от времени как бы заново ощущая братское рукопожатие сумевшего понять меня незнакомого человека…

И словно воочию диво совершается! — ибо явственно чтется в великом и молчаливом собеседнике, что эстафета человеческой жизни всегда была бесконечной: как всего нашего милосердия и сострадания, нашей вечной надежды и веры на лучшее, так и постоянного обновления человеческой души в мире проходящем и вечном… — замерев, я сидел и думал, хотя о чем думалось? — спроси меня тот, второй, во мне живущий, — я бы, наверное, так и не ответил…

И, мучая свою душу до бесконечности, буду я вновь и вновь метаться в таинстве изначальном, ибо каждому понятно — не то мудрено, что переговорено, а то, что никогда не может быть договорено.

“С совестью не разминуться, — наставляла меня на дорогу мать, когда поняла, что уже поздно и бесполезно переубеждать. — А добрая совесть — глаз Божий. Ясны очи. Ведь чужая-то душа — темный лес, но душа душу везде ищет, и сердце сердцу весть подает. А разве душа и совесть не родные сестры? — вопрошала мать. — Разве не совесть питает душу и разве есть между ними распри?.. Да ни в жизнь, — и такой-то чести довеку стоять…”

Много дней впереди, много и позади. Но помрут и внуки наши, а конца этой песни не дождутся; и, вспомнив теперь все происшедшее, передо мной будто бы на миг приоткрылось таинство изначальное, и зрятся сейчас — чтоб жить да молодеть, добреть да радоваться! — слова моего великого и молчаливого Собеседника, удивительно чудодейственно и милосердно успокаивая мою исколотую память, мужая сердце до конца:

“Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и оставаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не упасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это…”

Часть вторая

Отрядник

…Постарайся выполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть.
Гете

Я скажу читателю на ушко: все там есть.
В. Белов “Ремесло отчуждения”

1

Общую планерку учреждения на этот раз собрали в методическом кабинете штаба — по случаю предстоящего праздника. Новый год уже был на носу: оставалось всего несколько часов — и встречай себе на здоровье!..

Как и положено в торжественных случаях, начальник колонии подполковник Любопытнов душевно поздравил сотрудников с новым счастьем, пожелал самого наилучшего, а затем под жидкие аплодисменты поощрил грамотами и денежными подарками лучших из лучших.

Следом за маленькую, по нынешней моде, трибуну с государственной символикой, по привычке протирая свои в тяжелой роговой оправе очки, аккуратно взошел новый зам по режиму капитан Грошев Василий Васильевич. Невысокий и плотный, с почти немигающими глазами, он был недавно переведен в нашу колонию, но уже накрепко заполучил кличку: "Люди говорили, люди знают".

Вызовет Грошев по своим делам кого необходимо, вперит многозначительный, странный взгляд — и врежет правду-матку в глаза. А если ответчик начнет артачиться и пойдет в отказ — зам по режиму и выложит свои безоговорочные аргументы: "Люди говорили, люди знают!" Как к стенке пришпилит. И обязательно попротирает еще, не снимая, очки. Точно подвинтит какие-то невидимые винтики.

К нам капитана Грошева перевели с повышением для укрепления режима, предварительно спровадив на заслуженный отдых ставшего плохо слышать и видеть майора Нектарова, любившего тоже приговаривать свое: "Где я лисой проходил, там три года куры не неслись!" — и гордившегося тем, что за все время службы он не получил ни одного дисциплинарного взыскания. Конечно, чудные чудеса — шилом небеса; но пути Господни, как известно, неисповедимы.

В одной из колоний осужденные, говорят, наслушавшись теперешних телевизионных перестроечных идей, учинили форменный саботаж, именуемый кипежем, но капитан Грошев сумел безболезненно и одновременно железно усмирить эту бучу, воздав и основным поборникам за права демократизации мест лишения свободы, — тем, кто шел "за паровоза".

Так что новый заместитель был окружен неким ореолом таинственности и невольного уважения. Еще задолго до появления в нашей колонии.

Капитан Грошев с добрую минуту по-хозяйски оглядывал сидящих сотрудников, затем с хрустом развернул отпечатанные листки и провозгласил:

— Внимание! Оглашаю список дежурства на усиление! — И раздельно перечислил фамилии тех сотрудников, которые задействовались в усилении: дежурство по поселку, на подстанции, гэсээме, лесооцеплении, нижнем складе. Потом, помолчав, Грошев что-то поискал взглядом на полу и заключил:

— Все свободны. Начсостав прошу остаться!

Дальше должен был зачитываться список офицеров, которым следовало дежурить в праздничные дни. Я суеверно взялся за пуговицу мундира, так в школьные годы невыучившие уроки выкручивали многострадальные пуговицы на пиджаке, надеясь, что не вызовут. Но мне не повезло: попал на дежурство — и как раз в новогоднюю ночь. С девяти вечера и до девяти утра — по жилой зоне. В чем и расписался, когда мне передали список для личного ознакомления.

Ответственным от руководства был назначен сам капитан Грошев Василий Васильевич, а под его опеку два офицера: недавно аттестованный и получивший офицерское звание Сергей Шаров, уверенный в себе, крепкий и смуглый брюнет с длинными волосатыми руками, и я — лейтенант Цыплаков Игорь Александрович. Такая табличка под стеклом появилась полгода назад над моим кабинетом в отряде — длинном бараке, расположенном недалеко от запретной зоны. В самом дальнем углу зоны.

Теперь до обеда мне следовало срочно "подбить бабки": проверить и перепроверить, пока люди на работе, отряд, обойти с завхозом все секции и каптерки, а также посмотреть тумбочки и шкафчики в поисках запрещенных предметов и всякого рода колюще-режущих заточек и ножей. Хотя обыск совместно с конвоем ротой и был не далее как день назад, и, казалось, все было едва ли не языком вылизано, но береженого и Бог бережет. А небереженого — как раз тюрьма стережет.

Наши же воспитанники проведут за милую душу и самого нечистого с рогами. Глазом не моргнут. Как-то в прошлые, справляемые по привычке

октябрьские, завел контролер по жилзоне молчаливого человека с тупым носом и совершенно квадратными глазами, встретив какового в темном месте не только, сам того не желая, поприветствуешь задушевно, но и собственное пальто передашь из рук в руки — хотя бы потому, что жизнь в такие минуты кажется действительно дорога как память.

Этот молчальник имел на зоне кличку Нарком, то есть был самым натуральным наркоманом и даже порой как-то умудрялся колоться — "словить кайф". Нарком в дежурке был незамедлительно обследован на алкоголь — к великому разочарованию дежурного наряда опьянение не подтвердилось. Проверялись подозреваемые довольно просто: стакан, грязный до отвращения, наполнялся из не менее "чистого" графина, после чего испытуемый выпивал воду и через пару минут по команде, надуваясь до посинения, дышал в этот же сосуд, который следом передавался по кругу присутствующим спецам из наряда, а те старательно внюхивались, пытаясь уловить запах ненавистного алкоголя.

В то время, когда обследовался Нарком, кто-то из сотрудников, вероятно, случайно вспомнив о правилах внутреннего распорядка, приказал осужденному прекратить безобразие и снять головной убор в присутствии администрации. Вот тут-то квадратность наркомовских глаз и объяснилась без всякого труда: выбрив себе середину головы, он уместил на голом месте сложенный вчетверо носовой платок, пропитанный ацетоном, — и вновь был в своей тарелке: "ловил кайф". После разоблачения Нарком уже на законных правах был помещен в ШИЗО — штрафной изолятор, где, как правило, содержатся лучшие из худших вверенного спецконтингента. Надежно и строго.

До обеда мое время пролетело, как тот легкий невесомый снежок, что с утра покружился слегка, да и исчез незаметно, очистив до стылой, неподвижной голубизны полтора гектара неба над зоной.

С завхозом Сугробовым мы трудились до седьмого пота: дотошно осмотрели тумбочки и шкафчики в каптерках, складывая все запрещенное в черный мешок, а затем облазили чердак, являвшийся удобным хранилищем для браги, после чего, отодрав цоколь, искали тайники вокруг самого отряда; и пока завхозом прибивались доски на место, я дополнительно заглянул в культкомнату: низкий потолок, пять десятков стульев, стенды на стенах, обшитых морёными досками.

Но главной достопримечательностью был, конечно, телевизор, хранившийся в ящике, закрываемый на новенький замок, который, впрочем, всегда успевали самовольно снять и, соответственно, в случае опасности вновь привести в порядок. Вовремя и незаметно — так, что комар носа не подточит.

Замполитом Мирзоевым была утверждена праздничная стенгазета: ставший уже символическим кот в фетровой шляпе и с кокетливо закрученным хвостом, в огромных ботфортах, щедро раскинув лапы, разбрасывал прямо к новогодней елке поздравления, вписанные в снежинки, искрящиеся от растолченного на клею стекла, рассыпанного по всему ватману. Броско и красочно. По такому же образу и подобию стенгазеты готовились и в других отрядах, практически ни в чем не отличаясь друг от друга. Делались как по заказу, да другое и не требовалось.

Нахмурив свои сросшиеся брови, замполит Мирзоев, прежде чем поставить подпись, внимательно изучил мое новшество: поздравляя от себя осужденных отряда, я пожелал им от всего сердца — так и подчеркнул — "от всего сердца" скорейшего возвращения домой и встречи с родными и близкими. Поздравление было вписано в звездочку мною лично — как Бог на душу положил.

Можно было уже и ближе к дому двигаться: вокруг отряда, расчищенный, блестел пушистый свежий снег, в самом фойе, вырезанные из бумаги всевозможных конфигураций, были развешены разноцветные звезды; а на тумбочках в некоторых секциях как-то по-домашнему уютно устроились миниатюрные елочки, и я сделал вид, что не заметил этого мелкого нарушения.

Словом, во всем виделось праздничное настроение; и даже у часовых на вышках оказались белые полушубки, как бы подчеркивая особенность этого

ясного морозного дня, а встречавшиеся на пути к выходу из жилзоны осужденные громче обычного и приветливее кричали: "Здравствуйте, гражданин начальник!" И с улыбкой: "С Новым годом!". А некоторые даже вежливо приснимали свои черные цигейковые шапки.

И мне тоже было радостно и приятно им отвечать; и лишь только войдя в комнату, я как-то разом почувствовал усталость, с особой остротой ощущая хоть и ставший привычным, но все же постоянно доводящий чуть ли не до обморока тошнотворный запах портянок и устоявшийся едкий дух человеческих тел той территории, где через считанные часы мне надлежало неустанно быть начеку. Всю ночь.

2

Комната, куда меня недавно переселили из общежития, была крошечная, но уютная: прихожая с умывальником да печка, напротив которой приткнулись железная кровать и столик с тумбочкой в углу. На тумбочке с белой накидкой — бюст Федора Михайловича Достоевского, вытащенный во время пожара поселкового клуба. Такое и до отцовских памятей не забудется. Казалось бы, вчера еще все произошло, ан нет — уже полгода позади. Пролетела пуля — не вернется!..

Через стенку от меня ютился вольнонаемный прораб Портретов, который нередко заглядывал с одним и тем же вопросом: "Сосед, закурить найдется?" — И всякий раз искренне удивлялся, что я еще не успел обучиться этой привычке.

Прораба Портретова позаглазно да и прямо в глаза величали Картинкиным. Наверное, потому, что всерьез не воспринимали. Так, сбоку припеку. Александр Григорьевич Портретов постоянно пребывал навеселе, но обязательно раз в год на него находило странное "прозрение": накупив на почте кучу газет и журналов, сосед старательно писал в редакции все, что взбредало в голову. А в ожидании ответа держался соответственно: был абсолютно трезв и аккуратно, до синевы, выбрит. Как к награждению готовился. А дождавшись — до сих пор отвечают, — всего не читал, только первые слова: "Уважаемый Александр Григорьевич!.." — Значит, не все еще потеряно и стоило жить дальше, коль "уважаемый"... И с не меньшим старанием продолжал "закладывать за воротник". Тем более что должность его имела неоспоримые преимущества: практически все стройматериалы находились в полном ведении Портретова, а это обстоятельство немаловажно для поселковых жителей, большинство жилищ которых держится только что не на добром слове. Худые прятки портят и доброго человека, но прорабом, глядишь, не только поселковые довольны, но и все отчетные бумажки у того тютелька в тютельку.

Вот и теперь моя дверь без стука и скрипа открылась, и сосед — худ, как треска, один глаз глядит на мельницу, другой на кузницу, — заглянув, задал, верный своей привычке, вопрос относительно курения и, получив соответствующий ответ, сипло, тяжелым голосом поинтересовался:

— Сосед, в баню идем?

В баню я и правда собирался пораньше перед дежурством, поэтому согласно кивнул. Я уже был переодет: успел натаскать дров, чтобы после баньки протопить печку. В такой мороз кто не любит посидеть у огня — этому, кажется, и ангелы небесные радуются!..

На крыльце меня остановила незнакомая женщина, видимо, приехавшая на свидание то ли к сыну, то ли к мужу. Вторая половина нашего дома была предназначена для приезжающих на свидание, и ко мне нет-нет да и заходили с каким-нибудь делом только что приехавшие и не знающие, куда податься. Летом их видимо-невидимо, а в такую пору, да еще в новогодний праздник, — редкость, можно сказать, себе дороже.

Прораб, буркнув, что забежит по дороге к Сереге Шарову, потому что дело есть, заскрипел по снегу своими высокими, раскатанными до пахов валенками, а я, объяснив приезжей, к кому надо обращаться с заявлением, пожелал немолодой уже женщине счастливого Нового года и в одиночку пошагал к бане, думая о тех, кто приезжает на свидание.

Рысь пестра сверху, а человек лукав изнутри: поди узнай и разберись!.. А как еще думать и гадать, когда выясняется, что зачастую то или иное нарушение, а порой и преступление случилось благодаря приехавшим "на свиданку": взяли да передали через бесконвойников чай, водку и деньги, а уж переправить в зону это хозяйство способов всегда предостаточно. Умеют показать Москву в решето. Да и не каждого "шмонают" по совести. Не раздевать же человека полностью. Вот тут-то всяк мастер на выучку и берет, а голь на выдумки всегда была хитра.

С самой же "свиданки" того проще вынести: достаточно за день до окончания свидания, поголодав, проглотить упрятанные в целлофановый пакетик деньги. Вышел да в укромном месте два пальца в рот — и выскочил на волю для надежности оплавленный по краям пакетик. И вся недолга. А то еще нитку привяжут за такой же пакетик и за зуб зацепят дополнительно. После как леску с уловом и вытаскивай — еще проще. Только одно неудобство: скорее попадешься. Зато с деньгами в зоне ты — пан. Или уж пропал, тут куда кривая выстрелит.

Наряду с этим доподлинно известно, что отдельным сотрудникам случается в тягость заработанный ломоть, который оказывается для них хуже, чем, скажем, краденый. Прямо поперек горла стоит. Недавно с треском был изгнан старший прапорщик Сайфиулин, которого оперативники "раскрутили" на шестьдесят бутылок водки. Ни много, ни мало. Наладился в зону поставлять и втридорога с рыла драть. Кто же его проверять станет — свой человек. С него и взятки гладки...

А этим летом грех по дороге бег, да и ко мне забег. Подошла женщина: седая и строгая. Головокружительно надушенная. Мать сидевшего по статье за групповое изнасилование гражданина Берковского. Из моего отряда. Ничего не просила, даже не заикалась, что у сына льгота на носу, — только убедительно и ненавязчиво разъяснила, что мне явно требуется специальное доппитание, которого здесь не может быть ни под каким соусом, а потому она незамедлительно вышлет мне посылочку-другую из своего Краснодара. Все случилось быстро и обыденно. Как во сне. Не на кого и негодовать было. Стоял да рот разевал, не зная, что сказать. А вскоре и извещение пришло: посылка не заставила себя ждать.

Оперативники же, выслушав меня, без лишних слов позвонили на почту и порекомендовали для этого подарка выдержку в несколько дней, чтобы он прокис добросовестно, а уж потом вернуть его законной владелице. Что и было сделано. Но добедки да победки — те же беды: отчего не воровать, коли некому толком унять?..

Пройдя мост, отчего-то прозванный "невским", я свернул к бане и, не удержавшись, оглянулся: толстыми рыхлыми столбами стояли над плоскими крышами домов синевато-белые дымы; чуть в стороне, на месте сгоревшего клуба, свеже зеленела тяжелая зеленая ель, украшенная многоцветными игрушками и ярко-рубиновой звездой на макушке: здесь сегодня всю ночь будет веселье...

В бане оказался только мой земляк Николай Александрович Соснин, с темной щепоткой усов под острым носом и с большими глазами в полукруглых разводьях. Раздетый Соснин терпеливо стучал в дверь, за которой в забегаловке с топчаном днюет и ночует старик-бесконвойник, заведующий банным хозяйством.

Для капитана Соснина всегда имеется в здешнем заведении веник, потому что не только в поселке, но и в самой зоне известно, что дежурный помощник начальника колонии Николай Александрович Соснин жить не может без парилки. С разрешения начальника колонии даже в середине недели собирал Соснин свой допотопный чемоданчик и шел в жилзоновскую баню, где его уже дожидался банщик. В недавнем прошлом дежурный помощник был в отрядных, как и я, на работе выкладывался по самую завязку и в себя приходил только благодаря парилке. Становился яснее и спокойнее. Белые нервические пятна, покрывающие худое тело с выпирающими ребрами, исчезали до следующего посещения: веник в умелых руках нес свою службу исправно. Обижаться не приходилось — ремесло за плечами банного умельца не висело.

А природная честность и наивность Соснина выглядели в глазах окружающих дополнительным чудачеством, — как правило, дальше дело не шло. А то не ровен час: удалой долго не думает. И даже опытные оперативники всерьез напрягались, когда на планерках брал слово Соснин.

Всегда имел под рукой точную и проверенную информацию — и бил не в бровь, а в глаз. А однажды ранним утром, направляясь в зону на подъем, я увидел свет в окнах Соснина и завернул к нему, потому что по графику он тоже должен быть на подъеме. Вдвоем-то сподручней да веселее шагать. Капитан открыл мне сразу, глядя неподвижными глазами. Словно с печи человек свалился. А на полу покоилась банка из-под консервов в пепелище окурков да кипа центральных газет. Повыше высокого навалено.

Оказывается, Серега Шаров в порядке шутки ляпнул накануне, что коллега политически слаб в коленках. И не все допонимает в сегодняшней политической обстановке. Вот капитан Соснин ночь напролет и торчал над периодической печатью — "доподковывался". Также он был способен, к примеру, купив случайно обувь размером больше нужного, носить ее с загнутыми, как у старика Хоттабыча, носками, потому уже было стыдно возвращать даже то, что еще недавно на ногу мерилось. В чем смех, в том и грех, а только от думы все равно голова трещит...

Также заступавший в новогоднее дежурство Соснин добился-таки наконец своего очередного веника, мигнул мне и чуть ли не вприпрыжку убежал в парилку. Когда мы с ним, на славу распаренные, сидели в предбаннике, послышались голоса: появился ругающийся Портретов в компании покатывающегося со смеха отрядного Сереги Шарова.

— Расскажу — не поверите. — Серега разделся и закурил. — Сходи, говорю, Григорьевич, за дровами-то, а то, мол, печь прогорает: у меня как раз яишенка на плите присоседилась. Да пузырь на столе — для гостя. Честь честью. Ну, тот охапку принес да с ходу и сунул в печку-то. Натурально. А оттуда, понимаешь, так ахнуло, что полплиты чуть не разворотило. Да еще впридачу и вся закуска на потолке оказалась. Как там и была. У Картинкина и дар речи пропал. — Серега, хлопнув по костлявому плечу мрачного прораба, улыбался во всю ширину рта. — А дело, мужики, такое, что наладился у меня кто-то дрова тырить. Чтоб узнать, я и забил в несколько поленьев патроны. А дрова-то заприметил да отдельно, значит, и положил. А то еще себя ненароком рванешь. Да только Григорьевича-то забыл предупредить, а он как специально и взял меченые. Даже печника пришлось вызывать, до сих пор еще колупается. А наш-то Портретыч, глянь-ко, все еще не оттаял: глаза семь на восемь, восемь на семь!

— Попросишь дэвэпэ, — буркнул прораб, — я тебе, паразиту, в письменной форме отвечу, понял? Поживешь и с таким полом, без обивки. Желающих всегда найдется.

— Ладно, Григорьевич, — успокоил его неунывающий Серега. — Мы ведь с тобой, чай, не чужие: как-никак ты у меня в отряде в совете воспитателей. Не забыл еще? Да и "девятая точка" под твоим мудрым руководством пашет на узкоколейке. Так что три к носу: в другой раз за компанию посидим — за рюмкой чая. — И Серега Шаров, насильно схапав руку прораба, слегка даванул ее. Молча изменившись в лице, Портретов вырвался и колченого протопал в моечное отделение. Тише воды, ниже травы. Было отчего и побледнеть: здоровьем Серегу Шарова не обидели. Быку шею свернет.

Рассказывают: Серега только-только закончил грязовецкий техникум заочно, а перед последним экзаменом, забредя на окраине города в какой-то магазинчик, заприметил за прилавком девушку. Вроде ничего особенного дивчина, а только парень вдруг как окаменел. Да и та, в свою очередь, тоже изменилась в лице. Покраснела — и в подсобку. Серега — следом, а там уже ухажер дожидается. Косая сажень в плечах. Оказывается, здесь и работал, разнорабочим. Серега, занимавшийся спортом, карате, окрысившегося человека не тронул — только встал в стойку и нанес показательный удар по первому неодушевленному предмету, подвернувшемуся под горячую руку. В результате дверка трехстворчатого шкафа оторвалась вместе с петлями. Правда, и серегинский кулак после такой процедуры распух до размеров до-

брого капустного кочана, зато наглядный пример моментально убедил соперника: он безнадежно махнул рукой и, вздохнув, убрался восвояси.

А Серега теперь и шагу не шагнет без своей второй половины, которая чувствует себя за ним, как за каменной стеной. Обзавелись и хозяйством: кроликами со свинкой. Живут да радуются.

Поигрывая мышцами и похохатывая, Серега потащил нас с Сосниным, обняв за плечи:

— Мужики, подфартила удача — вместе дежурим! — И загорланил во всю силу легких: — "А три танкиста, три веселых друга! Экипаж машины боевой!.."

Серега открыл заслонку в парилке и шарнул на каменку подряд несколько ковшей воды. Кожеобжигающий пар, мощно ухнув, хлынул к потолку, согнав блаженно растянувшегося на верхнем полке Портретова. Казалось, волосы на головах вересом затрещали! Но парились да мылись мы до одури.

И когда уже расходились из бани, мой разомлевший и о чем-то призадумавшийся сосед, благодушно отдуваясь, хмыкнул:

— Ладно, что у Шара пузырь не раскатали: надо еще в дежурку заскочить — бугра с "девятой точки" дернуть. С подшефной-то. А то я на всякий случай после праздников пару отгулов прихватил — не лишние.

Но Серега Шаров и здесь не удержался, чтобы не поддеть:

— Картинкин, белены объелся? Или дежурку с проходным двором спутал?

Конечно, кому не известно, что в дежурку в любое время дня и ночи могли заходить по делу и без дела не только начсостав, но и гражданские, вольнонаемные, зачастую не показав даже и пропуска охране, знавшей всех как облупленных, но сейчашное полушутливое Серегино замечание неожиданно вывело прораба из себя:

— Ты когда в лесу на своей "точке" был в последний раз? — напрягая жилистую шею с челночно бегающим кадыком, взъярился он. — Может, сам бугру и скажешь, чего им после выходных делать? Давай — хлопот меньше!

— Ладно, ладно, — примиряюще дернул подбородком Шаров. — Некогда, Григорьевич, сам знаешь. Мотаешься и без того как заведенный. У тебя ведь Паньков бугром-то на "точке", верно?

— Кто еще — Нарком, конечно, — так же быстро и остыл прораб. — В авторитете. Да и дело знает туго — не обижаюсь.

— Туго... Знаем мы, что он, заштыренный, туго знает: енот, да не тот. Ладно, Портретыч, проехали. Работа есть работа. Не будем заводиться: после баньки снова жить захотелось! Кто скажет, что это не так — пусть первым бросит в меня камнем!..

А дома, в своей уютной комнатке, как только я поднес былинку спички к матово-розовым дровам, в печи и занялось разом, вкусно запохрустывая согнутой в барашек сухой желтой берестой; и я, отварив в новенькой голубой кастрюле рожки, поджарил их на подсолнечном масле. И на верхосытку еще напился темно-янтарного свежего чаю с куском черного хлеба местной выпечки. После чего, подбросив дров в печку, подпер поленом весело осветившуюся ало-красным атласным огнем чугунную заслонку, блаженно растянулся на кровати. И уже сквозь дрему, засыпая, непослушными, костенеющими пальцами нашарил на столике будильник, завел — и на целых три часа оказался везде и нигде. Против неба на земле.

Солнышко нас не дожидается; когда я проснулся от неожиданной боли в сердце, было уже темно: зимний день не дольше воробьиного носа. А боль, туго сдавливая, заставляла сдерживать частое дыхание: какая-то острая иголка медленно переворачивалась в сердце, ноющими электрическими покалываниями растекаясь в груди и под лопаткой; немея, нехорошо отяжелело левое плечо и обмякла рука.

Стараясь медленней дышать, я закрыл глаза, ожидая, когда отпустит эта дотоле непонятная сердечная боль. Беда-то ведь без ума... Но только после того, как мое лицо покрылось испариной, игла исчезла, и я задышал спокойнее, все же долго не решаясь двигаться. Затем медленно сел и включил свет. Печь к этому времени прогорела окончательно, подернувшись серебристо-серой золой, и я закрыл заслонку, только теперь ощутив, как от тепла еще

уютнее стало в комнатке. А васильковые занавески на окне знакомо напомнили дом родной, который хоть и был далеко, да вспомнить его всегда легко; а что и было близко, то — получалось — слизко…

Но настала пора собираться — время не ждало. Погладив форменные брюки и рубашку, я побрился хваленым лезвием "Жилетт", которым, оказалось, следовало бы пользоваться разве что по приговору народного суда, но, освежившись родным "шипром", почувствовал себя вполне человеком. На все сто. Но отчего эта непонятная боль?.. Не чаяно, не ведано — встретила носом к носу. Да и взяла, как Мартына с гулянья…

Бюст Достоевского — на тумбочке под белой накидкой — таинственен и загадочен. Так под кремнем огонь скрыт… Взяв стул, сел я напротив великого и молчаливого Собеседника. Часто так до позднего вечера пристраивался — с глазу на глаз, и время не замечалось.

…Что скажешь? — А что спросишь, хотя заведомое не спрашивают. Ведь на правду слов нет — это то же, как на исповеди: и так все налицо.

И как тогда в постоянно тоскующей душе не может не проткнуть ледяной иголкой беззащитно дрогнувшее человеческое сердце, когда, скажем, прямо на глазах крутится берестой на огне сошедший с круга мой сосед, а над такими, прямее прямого, как безобидный земляк Соснин, не перестают изводиться в насмешках не желающие видеть дальше собственного носа, в свою очередь, сами наделенные какой-нибудь безрадостной кличкой, потому что всякий живущий в этом конвойном поселке неизменно награждается прозвищем; а каждый второй с погонами на плечах, вернувшись поздним вечером со службы, вынужден без слов хвататься за горячительное, чтобы хоть как-то суметь подзабыться до утра; и так месяц за месяцем, год за годом, и несть этому числа; хотя, конечно, день дню не указчик, и день на день не приходится…

"Хоть далеко, да полетно", — сказал я себе тогда еще, год назад, когда узналось, что после торчания в райцентре, надоевшего хуже горькой редьки, наконец-то можно будет отправляться самолетом в сторону будущей работы.

Сообщила это из окошечка кассы, подведя сухоту к моему животу, молодая и красивая женщина в форменном темно-синем костюме и белой рубашке с черным галстуком. Казалось, она появилась в этом деревянном домике аэропорта совсем из другой жизни, элегантная и печально-миловидная, с удлиненными, загадочно неподвижными глазами. А когда билеты на рейс были проданы и женщина из кассы повела на посадку — наяву, что во сне, боль напала! Шла она странно: одним боком опадала вниз, неуклюже-безобразно выправляясь, и вновь опадала…

"Почему так-то?.. — чуть было не вскрикнул я. — Где радость, тут и горе…" А когда на прощание я обернулся к ней, женщина безмолвно закивала мне, мигая своими выразительными глазами; и явственно было видно, что она понимает все, что творилось в моей душе…

"Тут вся твоя сила, сынок…" — так увещевала меня в детстве мать, упрашивая доедать кусок хлеба.

Тут вся моя сила. Ведь каждый из нас живет не только собственной жизнью, но и многими другими. А это значит, что наши сердца, человеческие сердца, нуждаются в защите, памяти, любви. Человек-то жалью живет. А что ни человек, то и я…

Когда я в темноте подходил к высокому глухому забору, обнесенному в несколько рядов путанкой и колючкой, с неба на зону сорвалась звезда и, прочертив ясный золотистый след, мгновенно погасла, точно испугалась, увидев, куда она падает.

3

Дежурка — небольшое деревянное строение линяло-голубого цвета со скамейкой у входа — в нескольких десятках метров от вахты. Прямо от трехступенчатого крыльца дежурного помещения нередко отводят наказанных напротив — через маленькие и скрипучие, плохо открываемые воротца в большом заборе — в штрафной изолятор. Там же внутри и помещение ка-

мерного типа. Проще говоря — БУР. Сидят здесь от месяца до полугода: что посеешь, то и пожнешь. Как правило, за серьезные нарушения режима, а порой даже и преступления. Кто чего стоит.

В самой дежурке — три комнаты с зарешеченными окнами, но без дверей, разделенные между собой порожками. В первой — с барьером — во всю ивановскую действует войсковой наряд, во второй — с пультом громкой связи и несколькими телефонами — восседает и руководит сам дежурный помощник начальника колонии, а в третьей, самой крошечной, делят пополам место неказистая, расшатанная лежанка и огромный, громоздкий сейф. Здесь зачастую и перекусывает на скорую руку дежурный наряд: на службе, известное дело, не без тужбы.

Все уже были в сборе: в парадных шинелях, серьезные. Старый наряд, быстро и деловито сдав дежурство, понапутствовал хорошей службы и ушел, чтобы вскоре сесть за домашний стол и по-человечески встретить праздник. В семейном или дружеском кругу.

А зам по режиму Грошев, не теряя времени даром, здесь же в дежурке и провел дополнительный инструктаж. Василий Васильевич, свободно и неторопливо прохаживаясь по комнатке, внушительно вещал:

— Помните, дежурство особое. Полная бдительность — и ни малейшего расслабления. В двенадцать — после поздравления президента — обязательный отбой и регулярные обходы по территории. А также по всем куткам. При съеме с нижнего склада и лесооцепления выявлено и изолировано несколько человек. Но могут быть пьяные и в зоне: все не предусмотришь. Значит, обходы, обходы и еще раз обходы. Ни минуты не дремать. Это — главное. Обо всех инцидентах докладывать лично мне: я буду работать у себя в штабе зоны. А сейчас с начальниками отрядов и войсковым нарядом проведем обход по зоне. Вопросы?

В это время без стука возник председатель совета колонии, малый, которого и в три обхвата не обнимешь; поздоровавшись вежливой скороговоркой, он затрещал:

— Гражданин начальник, разрешите новогоднюю программу посмотреть — народ просит. Все будет путем, только разрешите немного на воле себя почувствовать, век будем помнить!..

— Дают стране угля, — только и изумился дежурный Соснин, хотя председатель совета не сводил своих бегающих глаз с зама по режиму. — Это же протянется до четырех утра — не меньше! Да у меня к тому времени всю зону на уши поставят — виновных не найдешь! Самого под суд отправят! Не мешайте работать!

— Ми-ну-точ-ку, — раздельно выговаривая, остановил капитан Грошев было уже скуксившегося председателя совета. — Как, говорите: посмотреть праздничную программу? А есть ли гарантия, что в зоне действительно будет полный порядок? Актив колонии ручается?

— К-конечно, — вдохновенно зазаикался председатель. — Мы же себе не враги, гражданин начальник! Р-разрешите, объявлю по отрядам? Я мигом!

— Раз-ре-ша-ю. — Капитан Грошев, щурясь, попротирал очки, провожая взглядом обрадованно вывалившегося за дверь председателя, затем, развернувшись на каблуках хромовых, лаково блестевших сапог, наставил короткий палец на покрасневшего дежурного:

— Никогда, товарищ Соснин, не лезьте вперед батьки в пекло — соблюдайте субординацию. Даже если вы и дежурный помощник начальника колонии. Запомните. Дальше: народ будет занят — это самое главное. Останется только умело координировать свои действия: здесь у нас опыта не занимать — справимся. А раз люди говорили, что гарантируют полный порядок — значит, люди знают! Все, товарищи офицеры, обход!

Доказывать, что спор себе дороже — все одно, что в стенку лбом биться. И мы молчаливо вышли вслед за Грошевым в морозную темноту ночи, тускло освещаемую хилыми лампочками под жестяно скрипевшими абажурами; и по нам с одной из вышек на секунду скользнул ярко-желтый прожекторный луч, в свете которого на мгновение покорно взвились и запляса-

ли в сумасшедшем хоре мириады беззаботно-легкомысленных и веселых снежинок. Из светлого-то рая, да на трудную землю…

Металлически чекая набойками каблуков по промороженно-звонким доскам плаца, нас догнал и пошагал впереди прапорщик Псарев из дежурного наряда конвойной роты.

Поеживаясь, я невольно усмехнулся: за неделю до праздников Псарев вызывал по громкой связи осужденного Жилина, а меня в это время как подтолкнули — и дунул, вспомнив известный толстовский рассказ, вызывающему на ушко: "Заодно и Костылина не забудь!"

"Осужденные Жилин и Костылин! Прибыть к дежурному! — на ходу перестроился Псарев. — Жилин да Костылин, срочно в дежурку!" — гаркнув напоследок, он сделал мне обнадеживающий знак рукой: мол, сейчас оба здесь, как штык, будут!

Поняв, что шутка зашла далеко, я попытался это объяснить контролеру, но тот уже закусил удила: пока не перебрал в дежурке все списки, выяснив, что такого осужденного в природе не существует, — не успокоился. Даже пот прошиб. И после перестал со мной здороваться. Только головой при встрече кивал — старшему-то по званию.

У Псарева отечное лицо и вечно недовольный, лающий голос. А по заметке и примета: со всеми как кошка с собакой, одинаково не милует как жену, так и осужденных на службе. Всех под одну стрижет. Раз у меня на глазах с дежурства отпросился — жену из домашней кладовки выпустить. Сидела там с утра и до вечера — на всякий случай. Чтоб мужа больше уважала. А осужденные тут как тут и прозвище подобрали от души: Кирпич.

Толчея без стука не ходит — так и наладилось: Кирпич да Кирпич. Даже комроты и тот однажды обратился: "Товарищ Кирпич!.." После плюнул и рукой махнул: как банным листком прилипло… Так и звали человека, как величали.

Во время обхода по отрядам всюду предстала одинаковая картина, какая бывает только по праздникам: в секциях шум и гам, в комнате политико-воспитательной работы неустанно мерцает мертвенно-синим накалом многострадальный телевизор, и больше обычного узкая тропка от культкомнаты до туалета залита матово белеющей жидкостью тайно бегающих сюда в эти праздничные и одновременно невыносимые часы; а в курилке, где можно было смело вешать топор, едкий и плотный дым делает неузнаваемыми сражающихся в шашки под сопровождение адского смеха и мата; но все равно, как по команде, перед нарядом все бодро и весело встают, безбоязно отвечая на дежурные вопросы, а улыбки запоминаются непривычной искренностью… И без перца доходит до сердца, — каковы веки, таковы и человеки…

Не забыли мы заглянуть и в кутки: пристройки к пэтэу и котельной, парикмахерской и школе, в каптерку с санчастью. За глаза довольно. Обошли из конца в конец: все было тихо и мирно.

После обхода зам по режиму, как и обещал, отвернул к себе в штаб зоны, а мы, уже крепко замерзшие, заторопились к дежурке — чуть не наперегонки. Перед самым входом нас осторожно обошел Нарком в новой фуфайке с форсисто поднятым воротником и вжатой в плечи головой.

А на пороге дежурки, часто затягиваясь, зобал папироску прораб Портретов, по красным пятнам его лица было понятно, что уже погнал человека черт по бочкам. Даже челюсть отвисла.

— А-а, Портретыч, — припечатал прораба по плечу Серега Шаров. — Дело сделал? Выдал Наркому задание? Все — до встречи в эфире!

— Верно, верно, — не обидевшись, согласно засуетился прораб, что было явно не в его характере. — Ухожу, голубчики-душегубчики! Спешу: запинаюсь и падаю…

В самой дежурке нас уже дожидался вскипяченный чайник, и мы, разложив на сейфе свои припасы, добрые полчаса гоняли чаи, в душе радуясь, что все пока идет хорошо да ладно. Так хорошо, что любо.

Но от добра до худа один шаток. Зазвонил телефон, и дежурный, хмуро выслушав, кивнул мне:

— Давай к себе: завхоз икру мечет — кажется, пьянка…

Накинув шинель, я выскочил в одиночку: в своих-то углах не староста указчик. А чуть что — телефон под рукой. Да и волков бояться — в лес не ходить...

В моем кабинете встревоженный завхоз с ходу шепнул секцию, где чифирили пьяные. Я шугнул его будто бы за непорядок: оставив на тумбочке повязку, где-то шастал дежурный по отряду. Пришлось самому собирать актив — для традиционного обхода.

Обход начался не спеша и по порядку, с ближней секции, чтоб завхоза не подвести ненароком. В одной из секций обнаружился в розетке оставленный кем-то самодельный электрокипятильник — "кипятило": пара металлических пластин да шнур с оголенной проводкой. Творение рук человеческих, подходившее на все случаи жизни, было брошено на произвол судьбы в виду внезапного обхода. А это наказывалось последовательно и строго.

В последней секции, в углу на койках, действительно чифирили: черная железная кружка ходила по кругу, передавалась из рук в руки — важно, степенно и обходительно. Каждый, сделав строго по глотку, передавал закопченную кружку следующему.

"В авторитете" здесь вологодский Борис Кондратьев — Кондрат, с лицом, покрытым мелкими нарывами, и дышащий в нос, хрипло и густо. Похож на больного. Трое "кентов" во всем внимали Кондрату: сложив по-турецки ноги на кроватях, не спускали с него блестящих и мутных глаз. Рты пооткрывали — и слова поперек не пикнут.

— Чай не запрещается, — опережая вопрос, насмешливо и хрипло протянул Кондрат, однако глядя на меня вполне серьезно и внимательно. Но я и не думал разводить известную волокиту, в очередной раз доказывая, что распитие чая вот так, по кругу, уже нарушение. Не на посиделках — купил, дуй себе на здоровье, кто же против. Только — в одиночку. Закон есть закон. Не мной, кстати, и придумано, понимать надо.

Я лишь как бы случайно, вслух, удивился, что у Кондрата "гуляет" язык, а это, надо полагать, не является результатом воздействия уважаемого им чифира. Не грех бы и провериться: тихо-мирно. Не правда ли? — держал я быка за рога.

Сделав худо, не жди добра, но когда вот так — по-людски да по-божески просят, — отчего бы не пойти да не провериться. Никто не откажется. Завсегда рады. Там, где проверка ожидается, тоже люди — поймут и разберутся. Восстановят справедливость. И все довольны. А иначе нельзя: окоротишь, так не сразу воротишь. Беды не оберешься.

В одной из колоний, сопровождая тоже до дежурки через зону пьяных, контролеры порядка ради сунули под микитки одному строптивому, а он возьми да закричи: "Наших бьют!" Вся зона поднялась — честь свою защищать. Ломали и громили все, что плохо приколочено. И мирно остыли, наткнувшись на привлеченных для наведения порядка молчаливых конвойников. Так что не надо будить лихо, пока оно тихо.

Дежурный, вызвав из поселка медика, провел с контролерами осмотр приведенных из моего отряда. Те охотно выворачивали карманы наизнанку, снимали сапоги — демонстрировали полную лояльность. Знать, на кривой козе выезжали: больно уж были уверены в собственной правоте.

Как на распорках, на негнущихся ногах и в шинели, вывалянной в снегу, вошел Точилов Павел Павлович, с петлицами медика и погонами лейтенанта. Не обращая внимания на окружающих, он бережно усадил самого себя в кресло дежурного и со значением прикрыл глаза, с сопением вытаскивая пачку с сигаретами.

Тут нашему слову места нет, потому что в любой государственный праздник Павел Павлович Точилов с утра сыт, пьян и нос в табаке. А медчасть своего в обиду не дает: ценный работник. Даже какой-то труд пишет, в науку ушел. Берегут пуще глаза. А человек, понятное дело, без недостатков не бывает: лукавый и святых искушает.

Развалившийся в кресле Точилов с усилием разомкнул глаза, закурил и с минуту в недоумении разглядывал стоявшего перед ним и пытавшегося не покачиваться Кондратьева, потом, брезгливо дергая губами, оповестил:

— О-о-о… один выйди.

— Здесь больше никого нет, — на всякий случай вытягиваясь по стойке "смирно", заплетающимся языком отчитался Кондратьев. — Я один, гражданин начальник.

— Так… понятно. Нам все понятно. Все равно — один выйди!

И, погрозив кому-то невидимому пальцем, дежурный медик со всеми проделал одну и ту же нехитрую процедуру, значение которой было ведомо лишь ему: приказав каждому раскрыть рот пошире, он сосредоточенно разглядывал похожие на подошвы темно-бурые, начифиренные языки, что-то при этом напряженно соображая. Затем при общем молчании долго выписывал справки обследования.

Выполнив такую трудоемкую работу, Точилов не с первого захода встал и все на тех же негнущихся ногах покинул помещение. С гордо и надменно поднятой головой, как на торжественном церемониале.

А Соснин, ознакомившись со справками, внезапно побагровел и, шевеля щепоткой усов над вздернутой губой, заматерился:

— Береги природу, мать твою!.. Только гляньте, что человек делает! Ставит общий диагноз: "язык чифириста". И захочешь — такое не придумать!.. Маразм крепчал! — Но, спохватившись, Соснин глянул на повеселевшую компанию и для пущей убедительности постучал по столу: — Не радуйтесь, мужики. У всех заложено — и без проверки видно. Да и грехов у каждого по уши. Так что запрягайте, хлопцы, коней: собирайтесь в ШИЗО. На сутки — правами дежурного. Без всякой обиды: все по закону.

Дежурный оглянулся и кивнул невысокому прапорщику с сальными волосами, у которого охраняемые недавно просили в лесу пистолета орехи поколоть, но тот оказался на высоте, — не доверил. Хотя и обращались с уважением: вежливо и обстоятельно.

— Значит, Паша… — Соснин качнул головой, морщась точно от зубной боли. — Слышь, Паша: отведите этих с Псаревым в изолятор да заодно помогите там с отбоем. Давайте, служивые, поживее…

А я в одиночестве стоял в комнате с сейфом, никого не слушая и ничего не ведая, потому что мне уже виделось, как за зарешеченным окном, медленно тая и высвечиваясь, уходила темень, и на смену постепенно появлялись, отчетливо обозначаясь, сверкающие серебром и золотом украшения праздничной елки той далекой поры моего последнего школьного года, когда самая красивая девушка, всегда застенчивая и робкая, прямо при всех подошла ко мне и громко, во всеуслышание, сказала, что любила и любит только меня одного, — в ответ на мое глупое открыточное пожелание быть счастливой; и, кажется, только теперь я неожиданно понял, что навсегда потерял ту, о которой, спасая себя, постоянно думал и был этим счастлив…

"А у Кондрата-то — отец с инфарктом", — вдруг молнией мелькнуло у меня ни с того ни с сего, и тут же из грязного, полуразбитого приемника, висевшего над дежурным, мелодично и празднично ударили куранты, по-детски радуя своими удивительными, чистыми звуками…

— Порядок, — бросил вернувшийся из изолятора Псарев. — Сделали отбой. Улеглись как бобики — и не тявкнули. У нас не повыступаешь.

— Ага, — подтвердил и Паша, покомкав ладонью свои сальные волосы. Деловит и серьезен: — Только Кондрат тусовался — еле успокоили. Икру мечет: "пришью" отрядного. Говорит — не по делу замели. Мол, отрядный виноват. Раз медики не подтвердили пьянки, — всё, разошлись, как в луже чинарики. Так и говорил. Матерился будь здоров. Хотели даже в браслеты закацать, да поутих. Сейчас нормалек — отдыхает.

Дежурный скривился и закурил, затянувшись так, что и без того его плоские щеки обтянуло, как у больного:

— Час от часу не легче. Каким только трумэном люди думают?.. — Соснин обжегся, вставив новую папиросу другой стороной. — Ш-шерсть стриженая!..

— Теперь, наверно, срок навесят новый, да? — как оса, лез в глаза Паша. — Да, Игорь Александрович? А что, ништяк: за угрозу расправы над

офицером — пару лет и на строгий. Загремит под фанфары как миленький! Чтоб понимал, да?..

И не от того мне было холодно, что кто-то дурью маялся, прежде веку все равно не помрешь. И коли быть беде, то ее не обойдешь, а долгая дума — только лишняя скорбь...

В черном дешевом костюме, худой и бледный, с провалившимися щеками и еле слышным голосом стоял почему-то перед глазами отец Бориса Кондратьева. После перенесенного инфаркта был на свидании с сыном. На кратко-срочном. Длительного Кондрат был лишен — за очередное нарушение, без них не обходилось. А еще через несколько дней после свиданки у Кондрата так схватило зубы, что на стенку чуть не прыгал. Аж позеленел.

И пока я, бросив все дела, бегал в поселок за таблетками — по выходным медчасть под замком, — и умудрился на собственное мероприятие опоздать. Этого добра у отрядных не огребешься. А контролировал замполит своих сотрудников добросовестно, и на планерке расправа не замедлила, — через колено, да пополам. Мол, пасись, коза, на привязи: знай свое место. Сильная рука кому не владыка?..

А в письме, которое следом пришло мне от отца Бориса Кондратьева, написанном слабыми шатающимися буквами — следами человеческого горя, была робкая просьба присмотреть, по возможности, за сыном, который вырос без матери, в общежитии, в детстве часто болел, а перед армией был так избит, что пришлось удалять селезенку, но об этом он сам никогда не расскажет, и если, конечно, виноват, то... И без них горе, а с ними — двое...

И если до кого такое не дойдет, того уже не сожжет, а потому и не было у меня ответа человеку с сальными волосами и мягкими пухлыми руками, крепко державшими кусок хлеба и кружку с дымящимся чаем...

— Му-жи-ки-и-и... — вдруг шепотом прохрипел Серега Шаров, сводя к переносице, как это умеет только он, свои плутовато-желудевые глаза. — Мужики, — вращал зрачками Серега. — А вы хоть знаете, что у того, кто занимается онанизмом... — голос Сереги упал до трагического хрипа, — ведь шерсть на руках вырастает!

И Серега Шаров, такой-сякой, сухой-немазаный, еще и прищурился с придурью, как вдруг Паша, неожиданно вскрикнув, выронил кружку с чаем, в неподдельном ужасе воздев перед собой короткие пухлые персты.

Дежурка охнула и застонала смехом — только что углы не заскрипели. Но уже через минуту Соснину, всегда и во всем искавшему ясность, стало не до смеха. Он кивком подозвал хитро щурившегося Серегу Шарова, подергал у того на мундире пуговицу:

— Слушай, только вспомнил: ведь твой Нарком кентуется с Кондратом, верно?

— Ну-у-у... — тянул Серега, которого еще разбирал хохотунчик, тем более что Паша, отчего-то приседая, матерился почем свет стоит. Во всю силу легких, даже вены на висках оживились.

— Баранки гну! — И Соснин прикрикнул на Пашу: — А ну тихо — пошутили и хватит. Лучше помолчи. Или перекуси — помогает.

— А он с осени закормлен, — перемигнувшись с Псаревым, веселился Шаров, но дежурный, крутнувшись на месте, повернулся к Сереге Шарову — лоб в лоб:

— Все еще Ванькой с Пресни прикидываешься? Или в самом деле ничего не понял? Раз Нарком с Кондратом кенты, а последний давно уже в изоляторе, — что тут не ясно?.. Значит, "норму-задание" твой воспитатель с "девятой точки" выдал своему бугру сполна. Это и козе понятно.

— Ну, "голубчики-душегубчики" — берегись, прораб недоделанный!.. — На Серегиной потемневшей щеке обозначилась пунктирная ссадина после бритья. — Теперь уже поздно копаться в колбасных обрезках — ничего не докажешь. За руку-то не пойман!.. Всех бы их к стенке, — да очередями — из пустого-то валенка!..

Серега, вызвав по внутреннему телефону завхоза, закричал:

— Старшина, срочно узнать, где сейчас Нарком? Ну, Паньков, словом. Жду! — И, кинув трубку, сцапал Соснина за рукав: — Между прочим, Ни-

колай свет Александрович, завхоз у меня новый и со всей этой шоблой в контрах. А с Наркомом особо: тот раз права стал качать, так завхоз ему налил промеж глаз, и Нарком летел — только не курлыкал. А такое отдают на том свете угольками, ребятки-козлятки. Так что дело пахнет керосином… Долго ли нажраться да разборки учинить. На это они мастера первого класса…

Тем временем завхоз доложил Шарову, что Панькова нигде не нашли, как в воду канул. Дело понятное: ночь-то матка — все гладко.

— Будет он в отряде сиднем сидеть. — Серега, застегнув шинель, передернул широкими плечами, взбадриваясь. — Нашли дурака!..

И мы с ним, захватив Псарева, отправились навстречу судьбе, вручившей нам такой кислый лимон. Найти на все готового Наркома.

Усиливался дувший все забористее ветер, а где-то вверху, в темной густоте неба, знобко ощутимой сквозь редкие мелкие звезды, уже шумело что-то невидимое и сильное; ржаво скрипели на столбах раскачивающиеся фонари в железных рубашках, гоняя свой жидкий свет, и все чаще метались безжизненные полосы прожекторов на молчаливые строения, отчего-то вынуждая сжиматься сердце в невольной тревоге…

Между тем в отрядах, куда бы мы ни заходили, было относительно спокойно, и даже — на удивление — многие уже спали, а иные, собираясь на боковую, вечеряли, согнувшись в полутемных секциях за чаем и хлебом; в курилках наконец-то оседал дым, и воздух был такой тяжелый, что, хоть раз вдохнув его, нельзя было отделаться от спазматически душившего горлового комка…

И у нас уже была не о том речь, что виноватого надо сечь, а только о том, где же все-таки он, — шли мы теперь, не замечая холода, по третьему кругу — из края в край. Не обходили стороной и кутки. Но все было напрасно: знать, на всяком углу наркомовские шестерки понаставлены, — каждый шаг докладывают. А сам где-нибудь в тепле над нами посмеивается: дешево они не возьмут.

И когда только дошло, что у нас, как и у всех, всего лишь два глаза, да и те за носом, — мы, не солоно хлебавши, вернулись обратно.

Соснин и Паша, сидя порознь в разных комнатах, мирно носом окуней ловили. Дремали под жужжание счетчика. Соснин, сполоснув лицо, сообщил, что он самолично заглядывал в Серегин отряд — на всякий який. В целях профилактики. Был вместе с вызванным нарядом осужденных, из числа дежурных в новогоднюю ночь. От Наркома ни слуху, ни духу: пропал, как с возу упал.

Паша в шапке, свернутой на ухо, словно вспомнив о чем-то важном, выскочил на улицу, но вскоре залетел обратно и гробовым голосом возвестил:

— Во втором отряде Нарком завхоза подколол!..

— Заткни рот рукавицей! — побелел хозяин отряда Серега Шаров и спохватился: — Кто “стукнул”?

— Вышел я до ветру, а у ворот дневальный ко мне. Со шнырем из второго отряда. Кричит: у нас Нарком завхоза подрезал! Ну, я их обратно прогнал, а сам сюда!.. — Паша испугался, точно он сам все это натворил. Стоял неподвижно, и один глаз его подергивало неудержимым тиком.

А через несколько минут мы уже всем составом ворвались во второй отряд. В фойе и коридоре оказалось пусто, только через стенку еще бубнил телевизор: разрешение о просмотре новогодней программы выполнялось добросовестно.

А в кабинете Шарова на старшинском месте, опершись на руку и полуоткинувшись к стене, один-одинешенек сидел завхоз — молодой чернявый парень со стеклянными голубыми глазами навыкате. Левая рука выше локтя была перехвачена бинтом, лицо — белее мела. Но из одного угла рта в другой бегала папироска — завхоз, устало щурясь, курил. И походил на утомленного работой мыслителя.

— Что случилось? — подлетел Шаров. — Куда он тебя?

— С дураков взятки гладки… — шевельнулся завхоз, недовольно покосившись на перевязанную руку. — Нормалек — вена не задета. Обошлось.

Хотел опять пугнуть, сморчок. Мало того раза хватило. Ничего — нормалек. Отлежусь.

— Ну, я ему, уроду заштыренному, рога-то пообломаю!.. — зарычал Серега. — Где он?

— Кажется, в секции... Отсыпается, — откашлялся завхоз, не ставший держаться на благородном расстоянии, потому что здесь кто помечает, тот и отвечает. Каждый за себя.

— Может, медчасть вызвать? — с готовностью шевельнулся Соснин, с состраданием глядя на старшину своими большими глазами в полукруглых разводьях. — Давай позвоню, живо придет...

— Нет. — Завхоз был не из тех, кто с ходу весит головушку на праву сторонушку. — Серьезно, отлежусь — и делов-то. Пустяк, всего царапина. Так, заточкой задел...

— Смотри, — выходя из кабинета, согласился Шаров. — Будь тогда в отряде. В самом деле, отдыхай. Замену подыщу.

В наркомовской секции, казалось, все спали. Кто-то даже посапывал. Тишь да гладь, божья благодать.

Но мы уже были у тихого омута, где черти водятся: последняя койка в углу. Самолучшая. Сам хозяин шумно дышал, с головой закрывшись одеялом.

Серега Шаров, наклонившись, резко дернул жесткую байку: Нарком оказался в трусах и фуфайке. Точно так и надо. Поджав ноги, недоуменно открыл глаза, тревожно озираясь, — овечкой прикидывался. И в голую горсть не сгребешь.

— В чем дело? — сипло спросил он. — А?.. Что такое? В сё-ом дело?..

— В шляпе. — Для Сереги Шарова такая увертка не вывертка: взяв подчиненного за грудки, он рывком поставил того перед собой. — Одевайся. И за мной на полусогнутых, понял? Разговор есть, Паньков. И серьезный.

— В чем дело-о-о-о... — захрипел Паньков и прихлопнул к ноге вдруг забившую крупной дрожью руку. — Ты чё, в натуре, начальник? — И, выдвинув вперед челюсть, ножами выбросил в стороны руки. — Вы чё, цветные? Не доводите до греха!.. Я за базар отвечаю, мля!

— Я тебе крикну, малюточка, басом, — удерживая стальной рукой Панькова, а другой помогая ему одеться, цедил Шаров. — Ты что, урка недоделанный, еще себе дело шьешь? Не многовато ли на одного?

— Какое дело-о-о-о?.. — свистел Паньков, шаря глазами по темным и как бы переставшим на время дышать койкам. — Никаких делов не знаю!.. Все дела у прокурора, а у нас делишки. Ты мне, начальник, не лепи тут горбатого, по-ал?..

— Как не понять, — спокойно кивал Серега, подталкивая одетого Панькова к выходу. — Конечно, понял — чем старик старуху донял. Не велика наука. А ты, если хочешь, чтоб все в порядке было, иди и не рыпайся. Слушайся старших — худому не научат, родное сердце.

Паньков сделал еще напоследок приседающее движение, желая вырваться, но мы были тут как тут, — помогли и встали рядом. Бок о бок, как родные и близкие. И мне показалось, что кровати облегченно и сдержанно вздохнули. Задержавшись на пороге, я не вытерпел и обернулся — точно тихий ангел пролетел. Сон свят: все спят...

А на улице, глянув на торчавшую из-под накинутой фуфайки рубаху согласно плетущегося Панькова, я понял, что тот потому и поднял дым коромыслом, чтобы за него только голос подняли. Пожалели и заступились. Но ни у кого в это время почему-то подушка не вертелась в головах, а беспечальному сон всегда бывает сладок.

— Колись, тварь! — впервые за обход подал свой торопливый, лающий голос Псарев, едва лишь вошли в дежурку. — Нам все известно: кто дачку передал, тот и рассказал. И даже объяснение написал. Усек? Колись по-хорошему, не то прессовать буду! — Внезапно покрасневшее лицо Псарева кривилось и дергалось.

— Если известно, о чем базар, — не скрывая, ухмыльнулся Паньков, прислонившись к барьеру. — А ты, кусок, заткни фонтан. Тут и без тебя найдутся — постарше да поумнее.

Паньков покрутил тяжелой головой с осоловелыми глазами и, смачно крякнув, с достоинством полез за куревом, но накинутая на квадратные плечи фуфайка, скользнула на заплеванный, плохо выкрашенный пол.

— Н-на место, — негромко приказал ей Паньков. — Видишь: народ ждет. А народ уважать требуется. Иначе ему это не по кайфу. — И, как нашкодившей, погрозил фуфайке своим, с отполированным и длинным ногтем, крючковатым пальцем.

Это оказалось последней каплей, переполнившей чашу псаревского терпения: подскочив к Наркому, он неожиданно так ему навесил, что тот, дружески взмахнув руками, упал на зарешеченное окно.

— У-у-у!.. — как трансформатор, низко и утробно загудел поднявшийся Паньков и, страшно рявкнув, располовинил свою нательную рубаху. — У-у-у!.. — шагнул он к нам — широкоплечий и крутолобый, загородив собой свет.

На его конвульсивно дергавшемся животе, плавно перебирая множеством мохнатых фиолетовых лапок, судорожно извивался выколотый отвратительный паук. — У-у-у!.. — правил, как черт болотом, Паньков, разжимая и сжимая кулаки.

— В сторону! — вдруг выкрикнул Серега Шаров и, коротко выдохнув, принял стойку. — Все с дороги!

Поняв, что Нарком сам на себя плеть свил, я дернулся к Сереге, но было поздно, он сделал рукой неуловимое движение. Передо мной брызнула своим высшим и последним накалом ослепительная лампочка, тут же канув в ночь. Черную и беспощадную, где ни встать, ни сесть.

Очнулся я уже на кушетке: спать не сплю и дремать не дремлю. Только голова гудом гудит. Да в непонятном пространстве видится торчащая из-под фуфайки рубаха, которую нестерпимо хочется поправить. Просто взять и помочь человеку, у которого эта рубаха белым шлейфом тянется по полу далеко-далеко…

“А пол-то грязный…” — отчетливо шепнул мне кто-то на ухо, и тогда я открыл глаза. Встал и сел, снова встал и сел, ванькой-встанькой. Хоть сила силу и ломит, да только сам себя под мышку не подхватишь.

— Молоток, — осторожно похлопывал меня по щекам Серега Шаров, с тревогой наклоняясь к самым глазам. — Чудак-человек: кто же под такую кувалду толкал? Так ведь и без головы остаться можно. Ладно хоть в последний момент немного отвел — вскользь пришлось. Слушай, нашел за кого заступаться! Такому попадись только — убьет и не задумается… Как самочувствие-то?..

— Чуть не родил… — усмехнулся я, похоже, окончательно приходя в себя и оглядываясь: Псарев подавал мне стакан с чаем. — А где остальные?

— Наркома в изолятор отвели, — тяжело плюхнулся рядом Шаров. — В браслеты — и вперед с песней. Пускай разбираются. Туда и сам Грошев удул — только позвонили. Чэпэ, оно и в Африке чэпэ. Орет, конечно, начальство. Теперь и в самом деле будем отписываться: тому руководителю, этому… Ладно, Бог с ними. Слушай: чего ты-то опять чудишь?.. То в прошлом году в клубный пожар сунуло — чудом вылез, теперь снова в ту же дыру… Ты что, друган, ведь надо головой думать-то, а не метром ниже… Ну, как — попрошло?..

— Есть еще… местами гололед… — хмыкнул я, покосившись на Серегины гири: виноват, так знай про себя. — Знаешь, как в самолете: тошнит, а не выпрыгнешь… Не переживай, ты здесь точно ни при чем. Давай-ко лучше чаек пить — все вернее будет…

— Никому не верю!.. — отчетливым и протяжным голосом заговорил Псарев, злобно тыча пятерней в сторону двери. — У меня папаша из таких тварей подзаборных! Только водку жрал да нас с матерью всю жизнь калечил. А меня вообще норовил все время по башке долбить, чтоб дураком стал!.. А мать — ко всякому столбу ревновал, даже в бане запирал по суткам. Псих на самокате! Мне лет пять было, а как сейчас помню: вырвалась она из бани, да в горушку бегом. Так он догнал — и ножиком в ногу. Не бегай без спросу! И никто не узнал. А попробуй пожаловаться — после на-

смерть забьет! У него не заржавеет! Пока он жив был — не прощал никогда, доведись бы сейчас — то же самое. Нельзя! Было: зима не зима, а если не успел обуться — босиком и на задворки, а там ждешь, раздетый-то, час, другой да и третий, покуда папаша не угомонится. Или куда-то уползет. Тогда ноги в руки — и на верхний сарай в сено: нору сделаешь и спишь. Тварюга, везде находил — нигде житья не было… Всю жизнь с матерью в страхе прожили. Таких сволочей надо без суда и следствия! Сколько людей из-за них свои жизни поломали, разве не так?..

— Вот и Грошев разошелся, — тихо сообщил прибывший из изолятора Паша. — Ведь Нарком на все вопросы как в рот воды набрал. Рогом упрся — не сдвинуть. Его как после этого вывели отсюда, он только головой помотал — и всё. Ни на кого и не смотрит, — пожимал плечами Паша. — Чего это с ним, понимаешь? Должен радоваться, бычара, что так легко отделался, на чужом хребте выехал… А Грошев еще Соснину свечку вставляет: дескать, на планерке разберемся, дорогой товарищ, почему такое дежурство было. Соснин знай мычит да краснеет, а тот и слушать не хочет. Хотя у самого глаза сонные: сразу понятно, что конкретно дрых человек. Не полюдски все это, мужики…

— Мы тоже хороши гуси. — Серега Шаров дул, наверное, третью кружку чая. — Связь-то наркомовскую с прорабом прозевали. Так что чья бы корова мычала, а наша молчала…

— Выходит, теперь надо всех подряд шмонать, что ли? — вовсе растерялся Паша. — И ваших, и наших? Где же тогда правда-то?..

— Надоело! — треснул кулаком по столу Серега. — Нытики хреновы: надо дело делать, а не языком трепаться. Всё — давай-ко еще по зоне покружим, а то скоро подъем. Или кто-то еще за нас будет горбатиться?

И он оглянулся на меня, сильный и насмешливый человек, всё же поизмотавшийся к утру. И поморщился с едва заметной жалостью: мол, затейливые-то ребята недолговечны. Только ищут приключения на свою голову.

И после весь остаток дежурства, пока мы крутились, как белка в колесе, со своими привычными заботами, держался в одиночестве. Лишь чаще курил. Да и остальные попритихли — понятное дело: не снова здорово. Тоже подустали.

А когда мы всем скопом двинулись в зоновский кабинет начальника для сдачи дежурства, мне показалось, что у нас, одинаково хмурых и молчаливых, совершенно похожие лица, напоминающие цвет повседневной шинели.

4

По-кошачьи мягко ступая по ковру, последним в кабинет вошел заместитель по режиму Грошев и сел напротив начальника: руки меж коленей, слегка пригнувшийся. И в других — уже затемненных очках.

Он поводил по сторонам головой, словно впервые видел собравшихся вместе с ними на планерке военнослужащих из войскового наряда. И весь доклад дежурного капитан выслушал без единого слова, но как только Соснин заговорил о чэпэ, он заперебирал ногами — подсобрался и приготовился. Но вышло не так, как заместитель по режиму загадывал. Не той получился масти козырь. В наступившей тишине все, как по команде, замерли.

— Нельзя было обойтись без этого? — выслушав дежурного, пошевелил начальник своими серо-черными с завитушками к вискам бровями. — На что ежедневные ориентировки? Разве нельзя было предвидеть такой оборот дела?

— Можно, — тут и сунулся я из огня да в полымя. — Можно, — услышал я со стороны свой голос и встал. — Если бы не то распоряжение, да еще самим поменьше глазами хлопать…

— Что-о-о?.. — изумленно трогал начальник свежевыбритые красные щеки, ничего не понимая и глядя по очереди на сидящих. Но здесь действительно поперек батьки в пекло не лезли. Молчали да ждали.

— Василий Васильевич, — взял тогда без нужды начальник шариковую ручку, — объясните наконец — в чем тут дело? Введите в курс!

— Ничего серьезного не случилось, — сложив лодочкой ладоши, торопливо вмешался опешивший было Грошев. — В общих чертах я уже объяснил. Поцарапал Паньков завхоза, у них давние счеты. Это нам известно. С обоими уже побеседовано, тем более что потерпевшая сторона претензий не имеет. А с этим Паньковым тоже все ясно: теперь ему прямая дорога в БУР. Давно просился. А подробности будут изложены отдельно — так целесообразней… Из оперативных соображений.

Грошев, повернувшись в мою сторону, снял затемненные очки, и в его неподвижных зрачках я тотчас увидел себя маленьким и перевернутым кверху ногами. Как будто уже приговоренным и повешенным. Неужто вина моя не прощеная?

Но, спохватившись, зам по режиму быстро надел очки и торопливо попротирал их в дужках, как будто вновь подвинчивал свои невидимые винтики…

В окно первого этажа штаба из коммутаторской, мимо которой я вскоре после планерки не спеша проходил, призывно застучали: с приплюснутым к расчищенному стеклу носом приглашающе махала коммутаторша.

— К телефону, — подняла она полное, с двойным подбородком лицо. — Только из дежурки позвонили: сказали, как раз должен рядом проходить…

“Напросил себе на шею”, — взял я на ум, но голова не заболела.

— Да, — отозвался я, прижимая трубку, и повторил: — Да.

— Молодец, — вдруг раздался оттуда чей-то знакомый, лающий голос. И повторил: — Молодец.

— А кто это?.. — само по себе вытянулось лицо по шестую пуговицу. — Кто это говорит?

— Весь поселок говорит, — подал язык языку последнюю весть. Трубка дала отбой. А коммутаторша, толстая и неразговорчивая, еще молодая женщина, воспитывающая уже троих детей, хотела еще что-то сказать, но, присмотревшись, хмыкнула и даже неуверенно улыбнулась, поджав губы. И мы с ней помолчали, согревая друг друга теплом своих глаз…

Пройдет день, и будет все та же песня: снова придется, выворачиваясь наизнанку, до одури торчать в отряде, разбираясь с бесконечными рабочими делами, после которых у любого служивого на таком месте не может не померкнуть все живое кругом, а ввечеру — то же самое, что и поутру: дел по край крещеного света.

Живая грамота: у конца да венца никогда не найти конца. И тогда хорошо бы всем нам чаще улыбаться друг другу своей самой лучшей улыбкой, хоть чуточку помогающей человеку сохранять его радости, его надежды, а значит, и его короткую, неповторимую жизнь.

А еще мне хотелось, чтобы сейчас дома было тепло, и там ждала самая красивая девушка, когда-то при всех бесстрашно сказавшая, что любит только лишь меня одного…

И правда: мало ли о чем думает русский человек, когда ему хорошо.